

Сергей МЕЛЬНИКОВ

ЖИДКАЯ ЖИЗНЬ СУБЛЕЙТЕНАНТА ЗАМФИРА

Часть I

Василе Замфиру часто снились яркие и слишком правдоподобные сны. Он просыпался на влажной от пота простыне с бешено бьющимся сердцем и старался их забыть: огромную улитку с беззубым и слюнявым, как у прабабушки Аурики, ртом; волков в гимназических фуражках, клацавших челюстями у его розовых пяточек; дворника Глигора с острыми кусками стекла вместо пальцев. Чаще всего ему снился золотозубый и косматый цыган. Он уводил его в свой табор и отпиливал ржавой пилой ноги. Безногий Василе просил милостыню на улице Хэрестрэу, прямо напротив парадного своего дома, а мама и папа равнодушно проходили мимо, не узнавая. А как-то раз добрая матушка нарезала его сочными ломтями и разложила по тарелкам гостям. Потом весь день у маленького Василикэ во рту оставался вкус печёного яблока. Наверное, причиной этих кошмаров было то, что мама часто говорила ему, какой он сладенький, и каждый хотел его съесть.

Последние пару лет чудовища в его снах стали мёртвыми и железными. Теперь мягкое тело Василе перемалывали траками танков, разрывали его на части шрапнелью, выжигали лёгкие хлором, и так — с того самого дня, когда в Сараево застрелили эрцгерцога Фердинанда. Больше всего Василе боялся, что его сны станут явью.

Проклятие Замфира

К новому месту службы сублейтенант Замфир прибыл на дрезине. Он ступил на грубый дощатый помост, солдаты за его спиной налегли на рычаги и отбыли в сторону Чадыр-Лунги. Василе остался один. Перед ним сочился влагой деревянный щит с узкими чёрными буквами «Казаклия». В щелях между досками, вокруг них, в просветах грубо сбитой платформы под ногами — глянцево блестящая мясистая тёмно-зелёная трава. Левее, около столба семафора — будка на сваях, за ней — небольшой дом, двор, грязные куры. На верёвках — бельё, то ли сушится, то ли полощется в измороси. Ни души.

Сублейтенант растерянно огляделся: его никто не встречал. Он спустился по размокшим деревянным ступеням и остановился на последней: к дому стрелочника уходила полоса липкой грязи с болотцами дождевой воды. Василе нерешительно посмотрел на носки начищенных чёрных сапог и еле слышно застонал. Он перепрыгнул на заросшую травой кочку, нога поехала, пришлось соскочить прямо в лужу. Грязная вода оставила белесые разводы на коже, жёлтые брызги усеяли голенище. Замфир стёр с лица дождевую воду и зашагал вперёд, уже не разбирая дороги.

Хозяйство стрелочника окружал штакетник, не выше оградки на могиле — перешагнуть можно. Из будки, сбитой из досок с армейской маркировкой, высунул бородатую морду пёс и слюняво забрехал, скаля клыки, но под дождь вылезти не пожелал. Василе приоткрыл калитку и крикнул:

— Господин Сырбу! — никто не отозвался. — Господин Сырбу! Вам депеша из штаба армии!

Пёс залаял ещё яростнее. Дверь отворилась, высунулось юное лицо: круглое, с пухлыми губами и мятой от подушки щекой. Сонный взгляд прояснился, как только девушка разглядела симпатичного молодого офицера.

— Мадемуазель, — Василе учтиво приподнял кепи, — сублейтенант Замфир. Здесь ли господин Сырбу?

— Мадемуазель, скажете тоже, — приснула она.

Была она молоденькой, по-детски припухшей и такой милой в своём розовощёком смущении, что Василе непроизвольно разгладил пальцами тонкие усики. Девушка вышла на крыльцо и уютно завернулась в пуховый платок.

— Виорика Сырбу, — она изобразила лёгкий книксен. — Пойдёмте в дом, господин офицер, чего под дождём мокнуть? — Замфир покосился на собачью будку, и она со смехом махнула ему рукой: — Да он лает — не кусается, идите смело.

— Если вы настаиваете, госпожа Виорика...

Василе открыл калитку и проскользнул к крыльцу, удержался от прыжка, когда лохматая тварь размером с индюка вылетела из будки, клацая челюстями.

Девушка вошла в дом, ехидно и весело стрельнув глазами через плечо. Василе с пылающими ушами последовал за ней. В тусклом электрическом свете он оценил её фигуру, широковатую на его вкус, но с вполне плавными обводами и приятными выпуклостями. Посмотрел ниже, на широкие лодыжки в прохудившихся шерстяных носках под обтрёпанным подолом, и почувствовал стыд и лёгкую брезгливость.

— Прошу вас на кухню, господин офицер, — она провела его в полутёмную комнату с холодной печкой и маленьким окном. В ней стоял густой запах дрожжей и скисшего молока. — Присаживайтесь. Цикорию хотите? Или, может, чего-нибудь покрепче?

Василе посмотрел на четвертные бутылки с мутной жидкостью, стоящие под подоконником и отказался:

— Нет-нет, благодарю вас. Цикорий будет в самый раз.

Виорика достала жестяную банку, разожгла примус и взгромоздила на него чайник, рассеянно выглянула на двор и ойкнула:

— Матушка меня убьёт!

Она кинулась прочь, через окно Василе увидел, как девушка торопливо срывает с верёвок мокрое бельё и складывает в огромный медный таз. Чайник закипел. Василе потушил горелку, поколебался, но всё же нашёл в буфете кружки и засыпал в них порошок. Когда вымокшая и покрасневшая Виорика вернулась в дом, он протянул дымящийся напиток и смущённо спросил:

— Я сам налил, вы не против?

— Если спросят, бельё там не висело, хорошо? — попросила она.

Их пальцы соприкоснулись, и Замфир с интересом посмотрел на Виорику, но та с беспокойством выглядывала в окно за его спиной.

— Буду нем, как рыба, — заверил он и спросил, понизив голос: — Вы не подскажите, где у вас клозет?

— Что, простите? — девушка перевела взгляд на Василе, и он смутился.

— Ну... Латрина... Ретирада... Сортир, — понизив голос, пояснил он.

Она пару секунд непонимающе хлопала ресницами, потом с пониманием кивнула:

— Отхожее за домом, — посмотрела на его безупречно подстриженные усы и добавила: — Деревянная будка такая, без окон. Найдёте?

Сублейтенант Замфир нашёл и тут же проклял день, когда его из штаба армии отправили в эту Богом забытую дыру. Криво выпиленная дыра нужника казалась провалом в преисподнюю.

Тоска по дому, просторному особняку на улице Хэрестреу в двух шагах от парка короля Кароля, охватила его. Особенно, в этот момент, по отапливаемому клозету с фаянсовой вазой «Унитас», по её гладкому полированному ободу. У Замфира защипало под переносицей, и он обиженно всхлипнул.

Осторожно приоткрыв дверь, Василе высунул нос. Воздух, опьяняюще свежий, ворвался в лёгкие. Где-то за домом насадно ржала лошадь, низкий женский голос распекал Виорику. Видимо, хозяйка вернулись, и госпожа Сырбу обнаружила безнадёжно вымокшее бельё.

Замфир разгладил брюки, проверил пуговицы. С досадой глянул на забрызганные грязью ботинки и тщательно обтёр их лопухом. Под стеной дома в грязной луже стоял рукомойник. Его раковина, испещрённая чёрными язвами облупившейся эмали, грязные кольца от дождевых капель, растрескавшийся кубик серого марсельского мыла — вся эта нищета, грязь, убожество добились его.

С трудом сдерживая клокотание в груди, Василе вошёл в дом. Виорика стояла, опустив в притворной покорности голову, но с его появлением сверкнули задорно глаза под насупленными бровями. Над ней нависала дородная чернявая женщина с руками, способными быку голову к земле прижать. Она потрясала мокрой простыней, зажатой в увесистом кулаке. По ту сторону круглого стола, у открытого буфета, застыл мужчина — краксистый, лохматый, со спутанной бородецей, похожий на кишинёвского цыгана. В руке он держал тёмно-зелёный штоф.

Чтобы завершить немую сцену, Василе щёлкнул каблуками и чётко, с идеальной артикуляцией, как его учили в штабе, доложил:

— Заместитель интенданта штаба Четвёртой армии Его королевского Величества Фердинанда сублейтенант Замфир прибыл для осуществления контроля за транспортировкой армейских грузов. Господин Сырбу? — бородач неуверенно кивнул, будто до конца не веря, что он тот самый Сырбу, что нужен господину офицеру. Василе выдернул из нагрудного кармана вдвое сложенный конверт и протянул его через стол. — Вот предписание. Вам надлежит предоставить мне жильё и питание на весь срок командировки. Оплата будет произведена согласно установленному министерством преискуранту.

Сырбу хмыкнул, прочищая горло и сварливо проворчал:

— Аж уши заложило. Знаю я ваши преискуранты: кожу сдерёте, ещё и должен останусь.

Он забрал конверт, вытащил лист гербовой бумаги с размашистой подписью и долго вглядывался в него, подслеповато щурясь.

— Да вы садитесь, господин офицер, — ожила мать. — Садитесь! Сейчас ужинать будем.

— Благодарю, госпожа Сырбу, но, если позволите, я поужинаю позже. Мне срочно надо в галантерейную лавку. Не подскажете, где тут ближайшая?

— Ой, не надо «госпожа», мы люди простые, да и вам у нас не один день жить. Давайте по-родственному: я — Амалия, муж мой — Маковой, а эту бестолочь Виорикой зовут. А вас как?

От ласковой улыбки госпожи Сырбу на щеках сублейтенанта расцвели розы.

— Василе, — сказал он уже вполне штатским голосом.

— Василе... Из самой столицы, наверное... — сказала она благоговейно. — Ой, вы ж про галантерейную лавку спрашивали. Ближе всего — в Тараклии, но до неё километров десять и дорога совсем размокла. А что вам там надо?

Василе смутился.

— Мне жидкое мыло надо купить... флакон. Кожа у меня очень чувствительная, понимаете ли.

— Кожа чувствительная у него... — чересчур громко пробормотал Маковой. — Фифа какая. На фронте галантерейщиков нет, быстро огрубеет.

— А вы что ж сами не на фронте, господин Сырбу? — взвился Василе.

— А я своё уже отвоевал! — стукнул он кулаком по столу. — Я во второй балканской болгарам раненный, у меня пуля между позвонков застряла. Вон какой скособоченный! Показать?

— А я служу там, куда меня послало командование! — в голове у Василе щёлкнуло, вспомнился господин интендант с властным баритоном, столь любезным дамам. — Вы забываетесь, фрунташ запаса Сырбу! Перед вами старший по званию! — как всегда в такие моменты, голос Василе с контртенора сорвался на фальцет, и он закашлялся. — Извольте соблюдать субординацию!

— Ну-ну, — угрюмо проронил Маковой. — Как ты в доме моём жить собираешься со своей субординацией, господин сублейтенант?

Он сел за стол и налил себе в стаканчик желтоватой жидкости. Глядя сквозь Василе, влил в рот и занюхал рукавом рубахи.

— Хоть бы гостю предложил! — укоризненно покачала головой Амалия. Она сунула мокрую простынь дочери и взглядом услала её прочь. — Вы, господин офицер, сходите в село, в аптеку господина Лазареску, это недалеко: луг перейдёте, там через мост — и прямо по улице, не сворачивая. Видела я у него на полке то, что вам надо. А пока ходить будете, я и на стол соберу, и комнату вам приготовлю.

Сухо кивнув, Василе развернулся, как на смотре, и вышел в тёмную прихожую, пропахшую луковой шелухой, пыльными половиками и старым веником. За спиной началась приглушённая перепалка, женскому злomu шёпоту отвечал мужской, гулкой и оправдывающийся.

Скрипнула дверь, показался вздёрнутый носик Виорики.

— Господин офицер, — тихо позвала она. — Можно вас попросить?

— К вашим услугам, госпожа Виорика, — так же шёпотом ответил Василе.

— Ой, да не надо услуг, — хмыкнула девушка. — Купите мне лучше у господина Лазареску манпасье — леденцы такие разноцветные. Я вам сейчас денег дам...

Пауза почему-то затянулась. Виорика смотрела на Василе таким нежным и наивным взглядом, что Василе поспешил заверить:

— Не надо денег, почту за честь!

— Господин офицер такой щедрый... — восхищённо сказала она и закрыла дверь.

Немного обескураженный, сублейтенант Замфир вышел во двор, под дождь, который не прекращался, но и не торопился превращаться в ливень. Мокрая

земля блестела, как жижа в кривой дыре нужника. Дальше, между калиткой и железнодорожной насыпью, зеленела некошенная трава, до села — широкий луг, который ему предстояло пересечь дважды. Передёрнув плечами, Василе поднял куцый воротничок и зашагал напрямик. Он шёл, разбрызгивая жидкую грязь, и испытывал потаённое удовольствие, как в детстве, когда прыгал по парковым лужам под гневные окрики гувернантки.

«Будете должны, дорогая Виорица!» — подумал он и улыбнулся. Он шёл по полю, не глядя под ноги. Трава, растоптанная подошвами, пахла остро и пряно. Василе вспоминал тонкие ножи бухарестских барышень в изящных башмачках с шнурованным голенищем, но они размывались дождём, а сквозь них проступали крепкие лодыжки в растянутых шерстяных носках. Они были куда плотнее и ближе стройных ног томно-язвительных девиц с кофейных террас Липскани.

В селе из трёх немощёных улиц Василе быстро нашёл лавку, пристроенную к большому дому. С одного боку её украшала надпись «Фармация», с другого — «Галантерея», а с фасада — «Бакалея». Судя по приоритетам, жители Казаклии ели чаще, чем душились розовой водой и лечили подагру. Он шёл внутрь, звякнул колокольчик. Из двери в дальнем конце вышел измождённого вида мужчина с уныло обвисшими усами.

— Что вам угодно, господин военный? — осведомился он.

Вопрос молодого офицера удивил господина Лазареску. В самой узкой, галантерейной части своего магазина он расставил стремянку и достал с самого верха литровый флакон дымчатого стекла с притёртой пробкой. Бросив осторожный взгляд на сублейтенанта, он украдкой, рукавом, обтёр толстый слой пыли.

— Вот, извольте видеть, господин военный, вам очень повезло — остался последний флакон. Очень дефицитный товар.

— Я заметил, — с лёгким сарказмом согласился Василе. — Сколько он стоит?

— Двести леев...

Сублейтенант поправил ремень, и его правая рука задумчиво задержалась у кобуры с револьвером.

— Сто восемьдесят, — вдруг вспомнил Лазареску. — Совсем забыл про переоценку... Но для господ офицеров доблестной армии Его Величества сто пятьдесят... Пять.

Господин офицер закатил глаза, то ли взывая к Господу, то ли пересчитывая в уме остатки наличности, и выложил на прилавок банкноту. Лазареску печальным взглядом окинул нарядную крестьянку на аверсе и совсем загрустил:

— Это дефицитный товар, больше вы нигде его не купите...

Василе с театральным вздохом достал из кармана две монетки и аккуратно положил сверху:

— Сто двадцать... И искренняя благодарность румынской армии в этот трудный для отечества период.

Лазареску посмотрел на офицера, на флакон жидкого мыла, который должен был в этом магазине пережить и его, и детей, и даже внуков, лестницу, пустое место в дальнем углу верхней полки и сгрёб деньги в кассу.

— Ну что ж, молодой человек, — сказал он обречённо. — Полагаю, благодарность Румынской армии стоит этих тридцати пяти леев. Может быть, что-то ещё? Кёльнская вода, зубной порошок, бриллиантин? Есть даже готовая венгерская помада для усов.

— Нет, благодарю, больше ничего. Ах, да, — спохватился Василе. — У вас есть монпансье?

— Безусловно! Есть русские «Ландрин», из самого Петербурга! В красивой жестяной коробочке, которую ваша дама сердца сможет использовать как шкатулочку для безделушек.

Василе выложил за коробочку дешёвых леденцов вдвое от бухарестской цены, но торговаться ему больше не хотелось. Тарелка мамалыги, съеденная утром в поезде, давно растворилась в молодом организме. Офицерское нутро напомнило о себе бравурным маршем. Поспешно распрощавшись, Василе сдержанным бегом, не роняющим офицерское достоинство, отправился обратно.

Входная дверь дома Сырбу была приоткрыта. Из кухни доносились приглушённые голоса. Замфир, сдерживая дыхание, шагнул в тёмную прихожую. Коробка монпансье для Виорики лежала в боковом кармане. Мокрый флакон с жидким мылом он держал обеими руками.

— ...кончится — умрёт! — услышал Василе грозный и злой голос Маковей и стук, какой бывает, когда увесистый кулак опускается на покрытый скатертью стол.

— Господи Иисусе! — запрочитала сквозь слёзы Амалия. — Как же так, Макушор?

— Как я сказал! Опустеет бутылка, и конец!

Василе растерянно посмотрел на флакон в своих руках. Ладони его взмокли, и он судорожно вцепился в выскользающее стекло. Разговор в столовой затих, лишь еле

слышно всхлипывала Амалия. За дверью Виорика скрипнули пружины, зашуршали шерстяные носки по половицам. Сублейтенант в смятении сделал назад шаг, другой. Перед глазами всплыло смуглое лицо Маковей Сырбу, его густая кудрявая борода с редкими седыми волосками и тяжёлый взгляд чёрных глаз из-под кустистых бровей. «Цыган! — подумал Василе. — Как есть цыган!»

Виорика за дверью всё-таки нашарила тапки. Скрипнула половица у самой двери. Сублейтенанта охватила необъяснимая паника: тёмная прихожая, пропитанная густыми запахами старого дома, сжалась, стены почти касались его плеч. Узкая полоска электрического света под дверью столовой напомнила мертвенное освещение прозекторской, где по служебной надобности ему случилось побывать. В тот день живое воображение и мнительная натура в красках нарисовали ему собственное обнажённое и обмытое тело на одном из мраморных столов с желобами стоков. За спиной, со двора, потянуло сырой землёй. Там блестела дождевая вода на некошеной траве и уходила в бесконечность пустые рельсы. И посреди этой пустоты, в цыганском доме — он, Василе Замфир.

Цыган сублейтенант боялся с детства. Гувернантка в тщетных попытках добиться послушания рассказывала маленькому Василику страшные истории про цыганских колдунов и с упоением живописала горькую судьбу детишек, попавших им в руки. Послушным он от этого не стал, зато обзавёлся невыносимо натуральными кошмарами. Сейчас, во временном помрачении сознания, Василе подумал, что, возможно, он спит, а значит, начинается настоящий кошмар. С визгом сдвинулся стул в кухне, одновременно с этим повернулась ручка в комнату Виорика, и сублейтенант, сдерживая вопль ужаса, пулей вылетел на крыльцо.

Тяжело дыша, он застыл посреди двора. Припустивший дождь охладил его горячую голову, и Василе устыдился своего срыва. Он — офицер Румынской армии, при исполнении служебных обязанностей, в кобуре шестизарядный «Сен-Этьен», а на северо-западе его собратья гонят проклятых австрияк из румынской Трансильвании. Крепко сжав кулаки, Замфир выпустил сквозь зубы воздух. Стало немного легче.

Дверь дома открылась, на пороге появилась Амалия, и даже в наступивших сумерках было видно, с какой жалостью и болью она смотрит на молодого офицера.

— Матерь Божья, господин сублейтенант, вы совсем вымокли! Идите скорее в дом!

Василе опустил взгляд на флакон с жидким мылом в своих руках и, отбросив суеверия, с достоинством сказал:

— Не извольте беспокоиться, госпожа Сырбу. Мы, солдаты, люди ко всему привычные. Буду через минуту, — и отправился за угол к рукомойнику.

В столовой переодетому в домашнее сублейтенанту Амалия поставила тарелку исходящего паром куриного супа с клёцками. Виорика заботливо накрыла его плечи тёплым пледом. Даже Маковей сменил гнев на милость и налил ему в рюмку желтоватую настойку.

— Пейте, сублейтенант! Давайте-давайте, от угощения не отказываются. Обещаю не включать его в счёт вашему министерству, — обнадёжил он и добавил, видя его нерешительность. — Примите как лекарство. Не хватало мне ещё с вашим воспалением лёгких возиться!

Василе чувствовал, что заболевает. Он слышал своё угнетённое дыхание и мягкую тяжесть под глазами яблоками. Он уже понимал, что простыл, но ещё надеялся, что это не пневмония. Одним решительным глотком, как полагается бравому офицеру, он опрокинул в рот настойку, будто вулканической лавы глотнул. Успел поймать удивлённый взгляд Маковей и уткнулся носом в рукав. Сдержал рвущийся из груди кашель и разлившуюся во рту кислоту быстро залил супом.

— Силён! — сказал с непритворным уважением Сырбу. — С такими офицерами наша армия непобедима.

Первый шок у Василе прошёл. Виноградная ракия потекла по жилам, выжигая болезнь. Бедная столовая с растянутыми жизнью кружевными салфетками на потрёпанной дешёвой мебели показалась милой и уютной, семья Сырбу — воплощением заботы и любви. Виорика больше не показывалась, но ему вдруг захотелось провести пальцами по нежному пушку на её щёчке. И суп был невероятно вкусен... Да бухарестские рестораторы поубивали бы друг друга за его рецепт! И в лучистой улыбке Амалии, ласковой и матерински тёплой, хотелось нежиться, как в лучах весеннего солнца. И может быть, даже выпить ещё по рюмке с подобрешшим Маковеем, вспомнить бои с болгарями, которых Василе никогда не встречал, и спеть дуэтом, обнявшись, «Тречети батальоне романе...» Василе очень много чего захотелось, но не было сил, даже чтобы поднять руку.

— О-о, господину сублейтенанту пора почитать, — услышал он голос Маковей, приглушённый и гулкий, как будто говорил тот в пустое ведро.

Василе попытался возразить, но почему-то забыл все слова, поэтому просто

улыбнулся. Потом его повели, и он честно старался переставлять ноги, а те, кто поддерживал его подмышки, морочили ему голову и кружили хороводы, и дом тоже кружился вокруг них, а в голове у Василе было пусто и легко, и он изо всех сил старался эту пустоту не расплескать. Потом ноги у него подкосились, но там, где нужно, и пышная пуховая перина, ароматная, как поле цветущей лаванды, мягко приняла его усталое тело.

Василе спал без сновидений почти до рассвета. Проснулся от резкого звука — выпал из глубокого сна, как из самолета. Тяжело дыша, схватился за одеяло и только потом открыл глаза. На дворе кричал петух. За расшитыми занавесками слабо светило сиреневое предраассветное небо. Василе сглотнул, унимая дыхание — горло саднило, но голова не болела, и тяжесть под переносицей — верная предвестница болезни — бесследно исчезла. Он расцепил пальцы и откинулся на подушку.

Хотелось пить, но края перины непроходимой снежной грядой высились вокруг. Василе подумал, что он сейчас похож на китайскую фарфоровую вазу в ящике, засыпанном мягкими опилками, красивую и хрупкую. Эта мысль ему понравилась. Он всегда считал себя привлекательным, но недооценённым женским обществом. Интерес к нему вспыхивал часто, но очень быстро угасал. Девушкам не хватало чего-то очень важного, того, что было в избытке у его одноклассников с гораздо более обыденной внешностью, а что это за загадочная субстанция, Замфир не знал.

Он поднёс руку к глазам, и в самом деле тонкую и изящную, с длинными пальцами музыканта, но она была не из фарфора, а из дымчатого стекла. В пальцах, не доставая ногтей, тяжело колыхалась светлая масса. Василе встряхнул рукой, и жидкость, наполнявшая руку, заколебалась, оставляя внутри медленно стекающие потёки. Уже зная, что он там обнаружит, и боясь этого, Василе приподнял край одеяла. Он увидел своё тело: безволосую грудь, рёбра, впалый живот с торчащим пупком, худые ноги. Всё прочее также наличествовало во всех анатомических подробностях, но состоял Василе не из плоти и крови, а из тёмного полупрозрачного стекла, наполненного жидким мылом. Он коснулся рукой лба и услышал звон, как от столкнувшихся стопок.

«Как закончится — умрёшь!» — вкрадчиво и злорадно прошептал в ухо голос Маковей.

В панике Замфир ощупал голову. Каждое касание сопровождалось стеклянным звоном, и от него сжималось сердце, которого у бутылки с мылом быть не должно. Из макушки торчала огромная пробка. Замфир обхватил её руками и вдавил покрепче. Заскрипело притёртое стекло, мелкий стеклянный порошок посыпался внутрь, в драгоценную жидкость жизни. Василе разжал пальцы и вытянул руки вдоль тела, не касаясь его. Тонкостенному сосуду надо быть очень осторожным.

Снова запел петух. Замфир открыл глаза, оглядел свою белую кожу, приятно мягкую и почти непрозрачную, прохладную, но живую, и облегчённо выдохнул. Ночной кошмар рассеялся. В окошко весело светило солнце, на дворе лениво переругивались Маковей и Амалия. Кухахтели куры, всхрапнула лошадь. В прихожей скрипнула половица, и Василе едва успел прикрыться одеялом, как в комнату влетела Виорика.

— Ой, господин офицер не одет, — сказала она с весёлым и насквозь фальшивым смущением. У Василе запылали уши.

— Если позволите... — пробормотал он.

— Конечно-конечно, — сказала Виорика, но не вышла, а, напротив, шагнула к нему. — Господин офицер купил даме манпасье?

Она была так близко, что он увидел тоненькие волоски пробивающихся усов на верхней губе, пухлой и очень мягкой. Солнечный луч вскользь позолотил чёрные волосы. Глаза под полуприкрытыми веками, под дрожащими длинными ресницами дразнили и обещали. Горло Василе перехватило, сердце гулко заколотило в уши. Сдавленным от смущения голосом он попросил:

— Дайте мне одеться, прошу вас.

— Думаете, я что-то ещё не видела? — томно шепнула она.

Крыльцо затрещало под грузными шагами, Виорика ойкнула и на цыпочках выбежала из комнаты. В дверь постучали, и голос Амалии спросил:

— Господин сублейтенант, вы проснулись? Через полчаса будем завтракать.

Василе спохватился, схватил кальсоны и нательную рубаху. Он совершенно не помнил, как их снимал, и не понимал, почему спал в чужом доме в таком непотребном виде.

— Да-да, уже одеваюсь! — крикнул он, натягивая бриджи.

Замфир подхватил кожаный дорожный несессер — подарок мамы ко дню выпуска из офицерского училища. С полотенцем на плече вышел на двор. Солнце успело подсушить вчерашнюю грязь. Лохматую псину спустили с цепи, и она дружелюбно виляла хвостом, приседая и тявкая, будто и не пыталась накануне вонзить

кльки в офицерский зад. Василе шёл к рукомойнику и улыбался про себя, вспоминая тепло девичьего тела и задорный блеск из-под густых ресниц. Он скинул рубаху, фыркая и дрожа от холода, обтёрся водой. Налил в ладонь густого мыла и остановился. Взгляд его упал на флакон. Уровень мыла опустился почти до начала скоса. Улыбка Василе потускнела, но он упрямо мотнул головой и натёр им плечи.

За обеденным столом Маковой со сладострастным стоном уплетал кукурузную кашу. Он нависал над миской, как волк над зарезанной овцой. В широком вороте бордовой рубахи курчавились седоватые волосы, капельки молока блестели на усах. Сублейтенант сел напротив, прямой и застёгнутый на все пуговицы. Амалия поставила передним фаянсовую тарелку с мамалыгой и пододвинула доску с горячими плачинтами. От них исходил восхитительный запах горячей брынзы. Василе благодарно кивнул и, молитвенно сложив руки, забормотал: «Благослови нас, о Господь, и эти Твои дары, которые мы собираемся получить от Твоей щедрости через Христа, нашего Господа. Аминь». За событиями прошлого вечера он совсем забыл поблагодарить Господа за вчерашний ужин, и сейчас, извиняясь, произносил слова молитвы с особым чувством.

— О-о, господин католик! — ядовито хмыкнул Маковой, будто узнало сублейтенанте что-то постыдное.

Василе не отреагировал. Разложив салфетку на коленях, он принялся за еду. Замфир следил за осанкой и положением локтей, откусывал аккуратно и тщательно пережёвывал пищу без посторонних звуков, как учила его в детстве гувернантка. Только сейчас он понял глубокий смысл этих правил. Как иначе отличать людей культурных и образованных от тех, кто недалеко ушёл от животных?

Маковой будто прочитал его мысли или слишком уж явно они проступили на сублейтенантском лице. Ехидно осклабившись, он вылебал остатки жижи, под удивлённо-раздражённый взгляд Амалии вылизал миску дочиста. Потом встал и, проходя мимо, кинул на стол у тарелки Василе скомканную телеграфную ленту: через час мимо станции Казаклия должен проследовать войсковой эшелон.

Признание Замфира

В указанное время Замфир вышел к рельсам с планшетом с пришпиленным бланком. Состав подошёл от Чадыр-Лунги, но вместо того, чтобы проследовать в Тараклию, сбросил пар и остановился. Начальник поезда выскочил из вагона и побежал к локомотиву. От представления сублейтенанта он отмахнулся.

— Замфир, голубчик, не до вас сейчас, — сказал он, раздражённо вытирая пот со лба. — Покажите машинисту, где качать воду, и занимайтесь своими делами.

С подножек прыгивали солдаты и офицеры, придерживая полы сброшенных на плечи шинелей. Они весело жмурились на яркое солнце и раскуривали в пригоршнях папироски, переговариваясь на сербском. У кабины начальник со злобным шипением налетел на растерянного машиниста. Тот жалобно блеял и нервно теребил картуз. Василе терпеливо дождался, когда начальник выпустит пар и ретируется, и козырнул машинисту.

— Нет, ну вы видели? — обиженно сказал тот. — Трибуналом грозит! А что я могу сделать? Давление падает, сюда-то еле доползли. Мне самому впрягаться?

Василе кивал головой и цокал языком, но машинисту собеседники были без надобности. Из-за поломки паровоза эшелон застрянет здесь до следующего утра, посему подкрепление для Добруджанской армии из бойцов Сербской добровольческой дивизии задержится, и это грозит машинисту большими бедами. Василе посочувствовал, показал, где водокачка, а сам пошёл вдоль состава, потому что каждому — своё. Кому-то паровоз вести, кому-то под болгарскими пулями гибнуть, кому-то — вагоны пересчитывать.

Поезд загибался вдали, сербы восполняли истончающийся пар из паровозной трубы табачным дымом, и были они, в своих шинелях, похожи на стаю мышей-полёвок, спрятавшихся от лисицы за серо-зелёным барьером эшелона. Впереди мелькнул чёрный китель, неуместный здесь — мелькнул и пропал. Сублейтенант подошёл к первой платформе и приподнял брезент. Пахнуло металлом и разогретой смазкой, и он поставил в бланк первую единичку.

К тому времени, как Василе дошёл до конца поезда, сербы выкатили две полевые кухни. В запах креозота, смятой травы и обувной ваксы влился ещё один — восхитительный запах пшённой каши с мясом. Краснощёкий повар радушно помахал половником. С отточённостью циркового фокусника он подбросил алюминиевую миску, и солнце подмигнуло сублейтенанту с её отполированного бока. Повар подхватил её, шлёпнул половник своего варева и протянул Василе.

— Гладан? Пробайте! — весело сказал он.

Сербы в очереди радостно загалдели, жестами подбадривая румынского офицера. Василе смутился. Он представил, как будет есть кашу на глазах у всего этого разношёрстного воинства, под смех и задорные выкрики, словно дрессированная мартышка на арене цирка. Он натянул на лицо самую надменную маску, какую смог придумать, нервно дёрнул подбородком и, заложив руки за спину, зашагал к дому стрелочника. За спиной разочарованно загудели.

«Не будет вам развлечения!» — гордо сказал про себя Василе.

— Напрасно вы так, господин корнет! — услышал он французскую речь с рокоучим проносом.

— Что, простите? Вы совсем знаки различия читать не умеете?! — возмутился сублейтенант также на французском. Им он владел не хуже родного румынского.

Василе развернулся на каблуках к наглому сербу, но на берёзовом пенёчке сидел незнакомый молодой офицер в чёрном кителе с красной выпушкой. Погоны на плечах украшали серебряные пропеллеры с крылышками. Нахал спокойно выгреб остатки каши и отправил в рот, потом встал, не торопясь, в полный рост и лихо, с дрожью в пальцах, козырнул.

— Поручик Сабуров, специальный авиаотряд Черноморского флота Его Императорского Величества, честь имею!

— Сублейтенант интендантской службы Четвёртой армии королевства Румыния Замфир, к вашим услугам, — ответил ему в тон Василе.

— Простите, друг мой! Когда мы проходили знаки различия союзников, я был не слишком прилежен. Зря вы так, лейтенант. Сербы — ребята радушные: другу рубаху последнюю отдадут, своей не будет — с врага снимут, а вы от угощения отказываетесь! — поручик чуть склонился и доверительно сообщил: — А каша, скажу я вам, отменная.

— Я не голоден, — сухо сказал Василе.

Русский поручик был ему неприятен. Замфиру не нравилось открытое полнокровное лицо с пышными светлыми усами, голубые глаза в восточном разрезе, широкие плечи и крепкие руки. Ещё пуще раздражала вальяжность, непоколебимая уверенность в себе. Но особенно — эмблемы на его погонах. Авиатор, бесстрашный покоритель неба, современный Икар! Попадись такой на глаза Виорике...

Василе непроизвольно закусил губу. Он чувствовал магнетизм поручика, к нему тянуло. Притяжение это было не того рода, который влёт пресыщенных столичных мужчин в тайные клубы, нет. Василе в душе желал быть таким, как Сабуров, но понимал, что это невозможно: жизнь ваяла их разными инструментами. От того злился и на себя, и на него.

Подумав, сублейтенант решил держаться от поручика подальше — меньше шансов, что единственная юная девица на станции попадётся этому хищнику на глаза.

— Был рад познакомиться, поручик, но мне надо идти, — Василе кивнул и зашагал к дому.

— Взаимно, сублейтенант, — крикнул ему вслед Сабуров. — Заходите в гости. Найдёте легко: единственный синий вагон.

— Непременно, — пробормотал под нос Василе и скрылся за калиткой.

К локомотиву, лязгая колёсами на стыках, подкатила дрезина с ремонтной бригадой.

Дома Маковей не было. Надутая Виорика сидела над полупустой тарелкой с супом, а Амалия трясла кулаком перед её носом.

— В своей комнате будешь сидеть, пока эшелон не уедет, поняла? — грозно сказала она и устало улыбнулась Замфиру. — Присаживайтесь, господин сублейтенант. Представляете, что удумала? Гулять к поезду пошла.

Виорика злобно зыркнула на мать, но промолчала.

— Ваша матушка права, госпожа Виорика, — рассудительно сказал Василе. — Сербы — жуткие головорезы. Юной девушке опасно находиться в их обществе, — он повернулся к Амалии и с важностью сообщил: — Ремонтная бригада уже прибыла. Начальник поезда доложил, что к утру эшелон сможет отбыть к месту назначения.

Ничего начальник поезда Замфиру, конечно, не докладывал, просто ему захотелось произвести впечатление на Виорику. Кажется, произвёл, но не то, на какое рассчитывал. Девчонка кинула в тарелку ложку с такой злостью, что остатки супа брызнули в разные стороны, мгновенно получила полотенцем по макушке и, громко топая и сопя, закрылась в своей комнате.

— Скаженная! — крикнула мать ей вслед. — Беда, когда в доме такая красавица растёт, — пожаловалась она, осторожно и испытующе поглядывая на Василе. — Глаз да глаз нужен. А у вас, господин сублейтенант, есть невеста? У такого красивого и серьёзного юноши от барышень отбою быть не должно!

Василе перебрал в уме свои жалкие любовные победы: поцелуй в щёку от эмансипированной кузины из Галаца и вечер в разных углах дивана с дочерью

отцовского адвоката.

— Я пока не встретил ту, единственную, с кем хотел бы прожить жизнь, — с достоинством ответил он и снова вспомнил русского поручика.

Станным образом рядом с ним все достоинства Василе превращались в недостатки. Замфир говорил по-французски с уверенностью парижанина. Сабуров грассировал, как последний клошар из рабочих предместий, только что выучившийся выговаривать букву «эр».

Кожа Замфира была благородно-бледной. Лицо Сабурова покрывал крестьянский загар.

Сабуров уминал пшённую кашу из миски и пальцами выуживал куски мяса. Замфир всегда вёл себя за столом так, будто напротив сидит сам король Фердинанд.

Замфир был образован, много читал, знал наизусть творения великих поэтов, а Сабуров вряд ли освоил что-то кроме воинского устава, по крайней мере, Василе хотел так думать.

Но как странно устроена жизнь! Пока такой, как Замфир, будет читать скучающей барышне возвышенные строки, такой, как Сабуров, шепнёт какую-то пошлость, от которой та зальётся румянцем, а потом уйдёт с ним, а не с Василе. Как бы ни были в моде в бухарестских салонах кокаиновые фаты с нервными пальцами, а в номерах барышни предпочитают уединяться с крепкими и шумными гусарами. А тут настоящий авиатор!

Вечером телеграфировали про санитарный эшелон, следующий с фронта в Чадыр-Лунгу без остановки. Сублейтенанту не хотелось встречаться ни с радушными сербами, ни с русским поручиком. Он сразу забрал влево, к голове поезда и быстрым шагом, не глядя на окна, проскочил мимо синего вагона первого класса. Двое железнодорожников, чёрные, как черти, ковырялись в башенке на округлой крыше парового котла. Под вспышками паяльной лампы загорались и гасли злые, измазанные сажей лица.

На поле за насыпью горели костры, их бледные дымы столбами уходили в тёмное небо. Гул сотен голосов тонул в стрёкоте цикад. Перед большой пылающей поленницей, выставив локти, в рядок ходили в странном танце сербы. Их чёрные силуэты на огненном фоне напомнили Василе гирлянды из человечков. Маленьким он вырезал их ножницами из цветной бумаги для новогодней ёлки.

В папином кабинете, в запахе старых книг и воска, на тёплом от пылающего камина полу, он складывал полоски бумаги в гармошку. Высунув от старания кончик языка, Василекэ вырезал человечка: голову, ноги, руки. Когда работа была закончена, он разворачивал гирлянду и придирчиво рассматривал её на просвет, и тогда тёмные человечки плясали в его руках, а в промежутках между ними пылал огонь, и такой же огонь отражался в очках отца, когда он с нежностью смотрел на вихрастую макушку сына. Василе ощущал его взгляд, как солнечное тепло на коже. Он купался в любви. Он был уверен, что любовь — это то, что должно окружать каждого человека, кутать в вату его уязвимое тело от рождения до смерти. Только это и правильно, а злость, ненависть, убийство, война — противоречат людской природе. Замфир опустил взгляд — его руки в коричневых перчатках дрожали. Ему тут не место. Он должен быть там, в просторном доме отца, в его кабинете, на полу у горящего камина. То, что он стоит в гагаузской степи, считает вагоны и смотрит, как веселятся приговорённые к смерти и увечьям солдаты — недоразумение. Это какая-то чудовищная ошибка.

Вдали загудел паровозный гудок. Бледное пятно американского фонаря потускнело, когда локомотив нырнул в распадок, и снова засияло, всё ярче и больше, пока не бросилось рывком вперёд, слепя глаза в истеричном свисте пара, лязге мечущихся шатунов, банном запахе прогорающего угля. Замфир, отшатнувшись, в панике пересчитывал пробегающие мимо вагоны. В окна выглядывали раненные. Они неслись мимо, из фронтového кошмара в неуютный покой госпиталя, чтобы, едва подлечившись, вернуться в бой. Приговорённые, не желающие избежать казни. Двенадцать санитарных вагонов, два обслуги и четыре товарных — проставил Замфир в нужных графах каллиграфическим почерком.

Сербы падали в воздух и кричали ура, приветствуя братьев по оружию. Унтера бегали между ними и гортанно выкрикивали команды, но их никто не слушал. И только поезд скрылся вдали, а сублейтенант убрал бланк в планшет, за его спиной снова запели, захлопали в ладоши.

Василе не мог взять в толк: почему они не думают непрестанно о тоннах смертоносного железа, готового вонзиться в их тела, о бесконечных рядах могил на военных кладбищах. Неужели каждый из них имеет что-то важнее собственной смерти? Это роднило воинов на гагаузском поле, которых завтра увезут на фронт, и воинов в санитарном поезде, а Замфир был чужим и тем, и тем, потому что не было во всём мире ничего ценнее его жизни. Он побрёл домой, торопиться не хотелось. Жизнь

в сербах не умещалась в телах, рвалась на волю, брызгая торопливым весельем, а в Василе её было не больше, чем жидкого мыла во флаконе на рукомойнике. Приходилось беречь.

Недалеко от калитки его нагнали торопливые шаги.

— Лейтенант, рад вас видеть, — сказал поручик Сабуров и добавил, понизив голос. — Есть у меня к вам одно дельце деликатного характера, — он доверительно взял сублейтенанта за локоть. — Скажите, друг мой, а нет ли тут поблизости увеселительных заведений? Или, может, барышень помоложе знаете? Последняя ночь мирной жизни случайно выпала, жалко терять. И купе у меня свободное.

— Помилуйте, поручик, вы это село на карте видели? Какие тут увеселительные заведения?

Сублейтенант попытался высвободить локоть, но Сабуров держал его крепко.

— Ну девицы-то тут должны быть. В жизни не поверю, что такой щёголь не знает каждую. Не жадничайте, лейтенант. Я завтра в бой пойду, а они при вас останутся.

Василе остановился и бросил украдкой взгляд на окно комнаты Виорики. Там горел свет, но в окно никто не выглядывал, и он был этому рад.

— Поручик! — Василе встал так, чтобы Сабуров повернулся спиной к дому Сырбу. — Я уверяю вас: за те дни, что я провёл в этом месте, самая молодая девица, которую я встретил — госпожа Амалия, супруга стрелочника, у которого я квартирую. Ей около сорока, она безусловно дама выдающихся достоинств, но вряд ли это то, что вы ищете.

Замфир ожидал увидеть в глазах поручика разочарование, но тот сочувственно посмотрел на сублейтенанта и положил руку ему на плечо.

— Василий, — сказал он с чувством. — Мне так жаль, что вам приходится тратить свою молодость в такой дыре! А пойдёте ко мне! Пусть девиц нет, но зато у меня есть Шустов.

— Кто этот господин? — растерялся Василе.

— О-о, поверьте, он необычайно приятен в общении! Давайте только зайдём на минутку к вашей хозяйке, и я куплю у неё что-нибудь съестное. Честно сказать, однообразное меню нашей кухни мне порядком поднадоело.

Василе из-за плеча поручика посмотрел на освещённое окно. Девичья тень проскользнула по нему от края до края и снова исчезла, и он торопливо сказал:

— Это прекрасная идея, поручик, но я не прощу себе, если вы истратите хоть бань. В конце концов, существуют же законы гостеприимства! Возвращайтесь в купе к вашему другу, а я попрошу госпожу Сырбу собрать провизию и вскоре приду.

— Ну, хорошо. Жду вас, лейтенант, не задерживайтесь. Господин Шустов очень нетерпелив!

Василе не понял, почему это должно его беспокоить, но заверил, что этому господину не придётся долго терпеть. Он дождался, пока широкая спина Сабурова скроется в темноте и прошёл на кухню.

— Госпожа Амалия, — сказал он. — Совершенно случайно я в этом поезде встретил одного знакомого, русского офицера. Он пригласил меня к себе. Завтра он отправится на фронт, и кто его знает, когда нам ещё будет суждено встретиться...

Госпожа Сырбу без разговоров взгромоздила на стол огромную корзину и поставила в неё бутылку с ракией, вокруг уложила колбасы, сало, свежееиспечённые пачинты, завёрнутые в белое полотенце.

— Вы скажите, сколько, я заплачу, — смущённо пробормотал Замфир, заранее догадываясь, каким будет ответ.

— Никаких денег, господин сублейтенант! — отрезала Амалия. — Это самое малое, что я могу сделать для наших защитников.

Госпожа Сырбу постаралась на славу: Василе едва дотащил неподъёмную корзину до синего вагона. В первом же купе он увидел поручика. Сабуров в расстёгнутом кителе задумчиво смотрел на дом стрелочника. Рядом на столе горела керосиновая лампа, снаружи совсем стемнело, и отражение в стекле было таким чётким, что Василе показалось, будто ещё один Сабуров заглядывает в окно. Замфир поставил ношу на кожаный диван и сел рядом.

— А где же ваш друг? — спросил он, вытирая лицо платком.

— Какой друг? — повернулся к нему поручик. Он заметил корзину с горой снеди и с восхищением вытаращил глаза. — Вот это да, брат-лейтенант, да ваша щедрость не знает границ!

— Должен признаться, это всё госпожа Амалия, и деньги эта добрейшая женщина у меня не взяла, — Василе вытянул бутылку ракии. — Вот, поручик, не желаете ли попробовать? Но должен предупредить: норов у этого зелья коварный.

— Всему своё время, лейтенант, всему своё время, — поручик открыл портфель и вытащил из него бутылку с большим колоколом на этикетке. — Вот, прошу любить и жаловать: господин Шустов собственной персоной. И, лейтенант, хочу заметить, что у

него есть брат-близнец! — и он высунул из портфеля горлышко второй бутылки.

— Так это... — Замфир удивлённо воззрился на Сабурова.

— Коньяк, — кивнул тот. — Лучший! Даже французы признали. И, если хотите знать, сам государь император таким не брезгует. Давайте, лейтенант, раскладывайте припасы. Выпьём за знакомство.

— Я, признаться, на самом деле думал, что вы говорите про своего друга.

— О нет, мы не друзья. Я, если честно, предпочитаю хорошую водку, замороженную до тягучести, да под молочного поросёнка и маринованные опятки... М-м-м. Но мои друзья в Качинской авиашколе решили, что коньяк больше приличествует новоиспечённому поручику, так что водочки мы с вами выпьем в следующий раз, — поручик налил полные рюмки коньяку, они чокнулись, Замфир пригубил маслянистый напиток и покатал его по языку, а Сабуров опрокинул рюмку целиком и зажевал плачинтой. — Славные пирожки! — сказал он, тряся ей в воздухе.

Василе сидел напротив, сдвинув колени, прямой, как спинка его потёртого кожаного дивана. Он цедил коньяк по капле, сжатый и напряжённый, как в приёмной начальника интендантской службы. И пахло в купе похоже: кожей, пылью и столярным лаком. Ему не хотелось здесь быть, он не желал приятельствовать с Сабуровым. Замфир просто увёл его от окон Виорики. Осталось дожидаться, пока русский захмелеет, и откланяться. О том, как напиваются эти дикари, Василе был премного наслышан.

Сабуров поднял бутылку и с осуждением посмотрел на Замфира.

— Лейтенант! Это коньяк, не духи — его пить надо, а не нюхать!

— Я, поручик, признаюсь: не большой поклонник возлияний.

Сабуров посмотрел на него, как на диковинную зверушку из зоосада, и налил себе. Потом встал, поднял рюмку на уровень глаз и торжественно произнёс:

— За Его Величество Фердинанда, Божией милостию короля Румынии! За его мудрость, отвагу и решительность! — Замфир нехотя встал и изобразил воодушевление, как смог. Только сунул нос в рюмку, как Сабуров рявкнул: — За здравствующего монарха до дна! — это была ловушка. Василе шумно выдохнул и повиновался. Коньяк, вполне приятный в микроскопических дозах, обжёг пищевод. Где-то в глубине вагона густой бас затянул «Многая лета». — Отец Деян распевается, — сказал Сабуров с усмешкой. — Видать, вторая бутылка пошла. Вы закусывайте, лейтенант! — поручик сунул ему в руку бутерброд с толстым куском колбасы. Замфир сел. В вагоне было душно, и он расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Сабуров довольно улыбнулся: — Оживать начали, а то, право слово, ну чистый манекен на шарнирах.

Нестройный хор голосов с гортанным балканским выговором подхватил многолетствование.

— Там ваши друзья? — Василе кивнул в ту сторону.

— Врагов тут нет, — Сабуров разлил, и Замфир ясно увидел, что будет дальше. Ещё рюмки две или три, и его накроет алкогольным туманом. В лучшем случае он уснёт, и поручик посчитает это признаком слабости. В худшем — утратит контроль, язык развяжется, и что он наговорит своему случайному знакомому — одному Господу известно. — Давайте, друг мой, — Сабуров пододвинул к нему рюмку. Замфир с подозрением посмотрел на русского.

— Скажите, поручик, а зачем вы меня пригласили? Могли бы сейчас петь со своими друзьями.

— Откровенно? Только не примите за оскорбление. Пожалел и испугался. Представил вдруг, что меня вот так же командование забросит в какую-то дыру, где всех развлечений — кур по лужам гонять. Одного, без общества, без друзей, без женщин, наконец. Туда, где даже поговорить не с кем. Такая тоска меня обуяла — описать вам не могу.

— Представьте, поручик, но в жалости я не нуждаюсь.

Сабуров только отмахнулся.

— Я не хотел вас обидеть, лейтенант. Мой французский не так хорош, как ваш. Мне не всегда удаётся подобрать правильные слова. Давайте лучше выпьем.

— Зачем?

— У спиртного, друг мой, есть замечательная способность. Оно вытаскивает живого человека из мёртвого панциря.

— А если человеку хорошо там, в панцире?

— Задохнётесь, если носа высовывать не будете, — Замфир не сдвинулся с места.

— Вы не можете мне отказать, лейтенант. За вашего монарха мы выпили, теперь нужно выпить за моего. Союзники мы или нет?! — и снова Сабуров вытянулся в полный рост, выпятил мощную грудь. — За Его Императорское Величество государя Николая Александровича! Многая лета! — громко и ясно объявил он. Замфиру ничего не оставалось, как встать напротив и выпить свой бокал до дна. Где-то через пару перегородок басовито подхватил отец Деян с хором подвыпивших сербских офицеров.

— Кажется, нас подслушивают, — ухмыльнулся Сабуров.

Лицо его обрело выражение напроказничавшего, но не раскаявшегося мальчишки, и Замфир подавил непрошенный смешок. Коньяк разогрел его кровь, расслабил сжатые чуть не до судорог мышцы спины. Василе сел за стол и приналег на закуску. Стряпня госпожи Сырбу была простой, но от того ещё более вкусной.

— Мне, право, неудобно вырывать вас из компании друзей, — заметил он и с удивлением обнаружил, что говорит с полным ртом. Русский коньяк разрушительно действовал на манеры Замфира. Он смутился, промокнул рот краем белоснежной салфетки, но поручик не обратил на это никакого внимания.

— Друг мой, — сказал он, не отрываясь от обсасывания куриной голени. — Мы могли бы пойти сейчас к нашим балканским братьям по оружию... — произношение поручика было столь чудовищным, что Замфир непроизвольно поморщился. Как многие румынские офицеры, он боготворил Францию, Париж и вовсе считал Новым Иерусалимом, сияющим на холме. Такое вольное обращение с французским языком коробило его возвышенную душу. Grimаса сублейтенанта не осталась незамеченной, и Сабуров с усмешкой продолжил: — Но вас, лейтенант, даже мой французский коробит. Что вы там-то делать будете? Наши сербские братья, особенно подпив, становятся не в меру общительны. Румынского они не знают, как и латыни тоже, а их французский, уж поверьте, много хуже моего. Их язык я кое-как понимаю, всё-таки народы родственные, а для вас, потомка римских патрициев, српски еззык будет сущей абракадаброй. И что вы там делать будете? Не отвечайте. Давайте лучше выпьем, — он опять налил рюмки до краёв и вытянулся во фронт и провозгласил: — За победу братского оружия!

Василе поднялся. На этот раз оторвать зад от диванных подушек было намного тяжелее.

— А обязательно до дна пить? — робко спросил он.

— Не обязательно, — успокоил его поручик. — Но, если на дне останется хоть капля, я немедленно дам вас тайной полиции как пособника врага и османского шпиона! — Сабуров с нескрываемым удовольствием посмотрел на скисшую физиономию Замфира и расхохотался. — Вы поверили, что ли? Ну, лейтенант, вы что, всерьёз заподозрили во мне жандармского сексота? Не буду я вас сдавать, пейте, сколько хотите. Но завтра мы отправимся на фронт и будем биться за свободу Румынии до последней капли крови. Неужели вы, благородный человек, офицер, сможете выпить за нашу победу не до последней капли коньяка?

— Чувствую себя куклой на ниточках, — пробормотал Замфир, вылил коньяк в рот и продемонстрировал поручику пустой бокал.

— Ну будет вам, обещаю: еще один тост, и будете дальше нюхать свою рюмку, сколько захотите.

— Зачем это вам, поручик? — с сомнением спросил Василе. Он нашарил плюшевую подушку и подложил под поясницу. Вертикальная, хоть и мягкая, спинка дивана была не слишком удобной. Поручик склонился ближе и доверительным шёпотом сказал:

— Дорогой мой лейтенант, у вас такая царственно-бледная кожа... — он замолчал, и уши Василе полыхнули. Он только открыл рот, чтобы дать отпор наглецу, как поручик невозмутимо продолжил, — что будь вы барышней, ей-богу, пал бы сейчас к ногам. Вы совсем на солнце не бываете? Вот право слово, живёте на природе, в первозданной дикости, а виду такого, будто только от куафёра вышли. Были б тут барышни, млели б и таяли от одного вашего облика. Такой тонкий белоснежный лилей в лейтенантских погонах.

— Вы полагаете? — вырвалось у Василе, и он сразу об этом пожалел. Ему почудилась издёвка в словах поручика, но тот смотрел на его лицо, как смотрят в книгу на незнакомом языке, пытаясь найти хоть одно знакомое слово.

— О-о-о, что за восхитительные бутоны расцвели на ваших щеках? — протянул поручик без улыбки. — Неужто вы до сих пор ни разу не стягивали кружевных панталончиков со стройных ножек?

— Я не готов обсуждать это с вами, поручик, — Замфир откинулся на спинку и сложил руки на груди. Теперь у него горели не только уши, но и щёки.

— Удивительно, — покачал головой Сабуров. — Потрясающая целомудренность у такого столичного щёголя! Кстати, насчёт поручика. Помните, я пообещал вам, что мы выпьем ещё один бокал до дна, и более я вас принуждать не буду? Я сдержу слово, — он разлил по рюмкам коньяк и встал. — Пора выпить братскую. Вставайте, — Замфир встал перед поручиком. Сабуров выставил локоть, будто предлагал сублейтенанту прогуляться. — Пропускайте руку так... Вот, а теперь до дна!

Едва Замфир отодвинул опустевшую рюмку, Сабуров, не дав опомниться, впился ему в губы. Замфир слышал об этом варварском, противоестественном обычае, инстинктивно попытался отстраниться, но рука поручика крепко удерживала его

затылок. В нос ударил запах вежеталя и чистой кожи, усы больно укололи верхнюю губу. Поручик отпустил его и сразу протянул руку:

— Константин!

— Василе, — ответил Замфир.

— Вася! — Сабуров радостно хлопнул его по плечам. — А как будет Константин по-простому? Как бы ты звал друга? — Сабуров сменил «Vous» на «Tu», и Замфир решил не обращать на это внимания.

— Костэл, — ответил он.

— Теперь ты — Вася, а я — Костэл. Всё, больше никакого насилия, клянусь!

Коньяк делал своё дело. Он тёк по венам, согревал и расслаблял. Замфир стянул мундир. Сабуров рассказывал, как учился в авиашколе в городе с каким-то турецким названием и как получил в день выпуска погоны поручика. Он щедро пересыпал французскую речь русскими словами, но Василе его понимал, и даже пролетарское грассирующее «эр» больше не резало слух. Остывшие плачинты были не менее вкусные, чем горячие, им отлично шёл пересыпанный красным перцем шпик, не хуже, чем к седлу барашка бургундское гран-крю.

— Давай за почечную колику Его Величества императора Франца-Иосифа! — Сабуров поднял полную рюмку. Замфир подхватил свою.

— А у него почечная колика? — заинтересовался он.

— Не уверен, — ответил Сабуров, — но теперь непременно будет.

— До дна, — решительно кивнул Замфир.

— Вот это по-нашему, — обрадовался Сабуров и вылил коньяк в рот.

Потом они выпили за подагру болгарского царя Фердинанда, французский насморк кайзера Вильгельма. После тоста за мужскую немощь султана Мехмеда Пятого Сабуров поднял палец вверх. Замфир задрал голову, но там не было ничего, кроме качающегося потолка с круглым выключенным плафоном.

— Кстати про мужскую немощь. Ты, друг мой Вася, ей, надеюсь, не страдаешь?

Замфир мотнул головой, и его замутило, потом потянуло куда-то. Он быстро перебирал ослабевшими ногами, а крепкие руки поручика берегли плечи сублейтенанта от падающих на него стен. Вагон больше не стоял у платформы «Казаклия», его качало на волнах, и у Замфира начался приступ морской болезни. Глотка наполнилась едкой кислотой.

— Ой-ой-ой! — сказал голос поручика прямо в ухо. — Только не здесь. Держись.

И Замфир держался. В лицо ударил свежий воздух, он пах густой травой, навозом и дымом от костра. В темноте уютно светилось окно в комнате Виорики, а в его комнате не горело. В том домике была кровать с чистым ароматным бельём, аппетитные запахи с кухни, заботливые руки Амалии, ставящие перед ним тарелку с чорбой, и припухшие со сна нежные девичьи губы, которых он ещё не касался, но уже всё про них знает. А за спиной — прокуренный вагон с полковым священником, больше привычным к «Упокой, Господи...», чем к «Многая лета...», острые запахи кожаных портупей, оружейной смазки, порохового дыма, впитавшегося в одежду.

Замфир стоял на границе двух миров. Шла война, и его тянули в тот, что за спиной, а он хотел в тот, что впереди. Он не готов, ему рано, он ещё не проверил, правильно ли он представил вкус губ Виорики. Василе б побежал, но ноги не слушались. Он шагнул на ступеньку, а она оказалась очень скользкой. Сильные руки подхватили его под мышки и аккуратно поставили на землю. Упёршись в колени, Василе изливал кипящую желчь с соляной кислотой в канаву под насыпью, а Сабуров придерживал его под грудь, чтоб сублейтенант не забрызгал сапоги.

Потом они сидели в траве. Замфир с тоской смотрел на домик Сырбу. Каким убогим показался он ему в первый день и каким милым и родным стал сейчас. Кажется, всю жизнь бы прожил тут, в тишине и покое. Сабуров сидел рядом и учил Василе уму-разуму, обкусывая травинки. От них голос его был сдавленный, и говорил он сквозь зубы.

— Тут, Вась, главное — напор и внутренняя уверенность. Сравнить дам с фортификационными сооружениями примитивно и пошло, но... — поручик поучительно поднял вверх указательный палец. — Жизнь и сама штука пошлая и примитивная. В военной истории не было случая, когда б завоеватель принудил крепость к сдаче горестными вздохами. Есть два способа захватить женское сердечко: осада и штурм. Осада вызывает жалость, штурм — страсть, а что вам по душе — решайте сами. Лично мне жалость ни к чему. Нет, есть ещё подкуп, но тут никакого искусства не требуется.

Василе не ответил. Он откинулся на спину и тоже, по примеру Сабурова, оторвал крепкую шершавую травинку. Травяной сок горчил и перебивал кислоту. Замфир лежал на спине, вытянув руки вдоль тела. Небо над ним медленно и почти незаметно вращалось — это кружилась Земля под его спиной. Он впивался в неё лопатками,

держался за стебли пырея, чтобы не улететь. Поручик — крепкий, широкоплечий, толстокожий — сидел рядом, в темноте белела его расстёгнутая рубаха.

— Соль же не в античных чертах, не в манерах, не в обхождении. И уж точно не в стишках. Главное — взгляд. В тебе самом, внутри, должна быть уверенность в обладании. Понимаешь? Вась, ты спишь? — Замфир отрицательно хмыкнул, он не хотел разжимать зубы. — Если будешь смотреть на неё так, будто уже ей обладаешь — поддела сделано. Поверь сам, и поверит она.

Василе столько раз мысленно касался губ Виорики, что он точно знал, какой у них вкус, какие они мягкие снаружи и упругие внутри, какой живой и бархатный её язык и как щекотно нёбу от его прикосновений. Сможет ли он посмотреть на Виорику так, будто уже целовал её наяву, а не в мечтах? Как у Сабурова всё просто!

С поручика какой-нибудь живописец мог написать картину — бог войны Арес отдыхает после боя. Рядом с ним Замфир чувствовал себя слабым, хрупким, незрелым. Такой, как Сабуров, может срубить саблей голову врагу, пробить ему грудь пулей, может грубыми стежками зашить рану на товарище и не поморщиться, голыми руками запропить вывалившиеся из брюха кишки. Его стихия — ярость, ненависть, исступление. Замфир не знает таких чувств. Просто... Есть люди, созданные для войны, и люди, созданные для мира. Так устроена жизнь, иначе все бы разрушали и никто не строил.

— Это всё не для меня... — неожиданно сказал он вслух.

— Не выдумывай, Вась. Для того Господь и сотворил мужчину и женщину разными.

— Я не о том.

Горькая слюна скопилась во рту, горло сжалось, не давая произнести и слова. Так было, когда он признался в любви своей галацкой кузине — не потому, что и правда влюбился, а чтобы поцелуй в щёку первый раз в жизни превратился в поцелуй в губы. Это мозг пытается помешать сделать шаг, за которым всё может измениться. Василе прокашлялся и сразу, чтоб не передумать, сказал:

— Я боюсь смерти. Я боюсь, что меня отправят на фронт, и я погибну.

Голос был хриплым и к концу стих до едва слышного шёпота. Василе хотел знать, что помогает Сабурову садиться за штурвал фанерного биплана и лететь под вражескими пулями на такой высоте, что упади оттуда — расшибёшься насмерть. Что отделяет Замфира от поручика? Только открытие, которое тот сделал, когда впервые победил страх смерти, и Замфир надеялся, что поручик с ним этим открытием поделится. Сказал и сжался, ожидая гневную отповедь фронтовика трусливой тыловой крысе.

— Будь это не так, я бы первый отправил тебя в жёлтый дом, Вася, — сказал Сабуров.

Замфир молчал. Все силы он потратил на несколько коротких слов и сейчас напряжённо ждал, что скажет поручик. Всего несколько слов, волшебная формула, после которой страх уйдёт, и Василе сможет жить без постоянного удушающего комка под горлом. Молчание затянулось. Наконец, Сабуров спросил:

— Ты чего-то ждёшь от меня?

— Как с ним жить? С этим страхом.

— Можешь не жить, — пожал плечами Сабуров и полез за портсигаром. Чиркнул спичкой, — жёлтое пятно ещё долго плавало перед глазами Замфира, — затянулся и выпустил облако белесого дыма. Оно медленно поплыло над травой. Поручик протянул раскрытый портсигар Василе, но тот отказался. — Думаешь, есть какой-то секрет? А нету его. В первый раз превращаешься в замороженный кусок мяса — ни ноги, ни руки не слушаются. Тогда надо что-то сделать, что-то простое: шагнуть, потянуть штурвал, взвести курок. Одно простое действие, за ним другое, и постепенно отпускает. А не сможешь — умрёшь. Во второй раз — ты уже всё знаешь заранее, и справишься с оцепенением проще. С третьего начнёшь привыкать. Война становится работой, а смерть — только одним из исходов. Умереть можно и в мирной жизни — от ножа грабителя или от гриппа, только ты об этом не думаешь. Просто живёшь день за днём до самой смерти, — Сабуров щёлкнул пальцами и оранжевый огонёк по дуге улетел к железнодорожной насыпи. — Пошли в вагон. Философствовать да думать про смысл жизни лучше не на сухую.

Замфир снова сидел на потёртом диване с плюшевой подушкой под спиной и был тем самым замороженным куском мяса, про который говорил Сабуров. Он не чувствовал ни рук, ни ног, и оттого они казались ему чудовищно распухшими. Сабуров что-то говорил, его слова казались очень важными, но им не удавалось проникнуть в онемевшую голову Василе. Булькал коньяк, Замфир говорил про себя: «Одно простое действие», — и брал рюмку непослушной рукой. Вливал в рот конья — без вкуса и запаха он неохотно проваливался в желудок. Сабуров опять говорил что-то, и его слова плавали в табачном дыму под потолком купе.

— ...кто мы? Великие учёные, художники? Мы не сделаем великого открытия, не напишем поэму, не придумаем способа накормить всех голодных. Мы — несколько

пудов мяса, костей и, пардон, дерьма. Десять копеек за фунт гамузом. Ты, Вась, на полтора червонца потянешь. Велико сокровище.

— Сколько это: полтора червонца? — спросил Замфир.

Сабуров задумался, вспоминая курс.

— Почти полторы тыщи вашими, — выдал он наконец. Замфир кивнул головой:

— Немалые деньги.

С головой качнулся вагон, и Василе зажмурился, а когда снова открыл глаза, увидел напротив бородатого и горбоносого мужчину. Незнакомец, закинув ногу на ногу, что-то размашисто чёркал на дощечке. Замфир тоже закинул ногу на ногу. Мужчина сразу ткнул в его сторону карандашом и сказал что-то непонятное.

— Он говорит: «Очень хорошо, так и сиди!» — перевёл на французский Сабуров.

Замфир так и сидел. Перед тем как глаза снова закрылись, он подумал, что надо будет обязательно сказать другу Костэлу, что культурные парижане, когда говорят «très bien», не рычат по-тигриному.

Потом он висел в мясном ряду на площади Обор. Стальной крюк тянул ребро. Промороженное тело не чувствовало боли, только стоял вкус металла на языке и щекотали оттаивающую кожу капли талой воды. К прилавок подошёл господин интендант с напوماженным адъютантом. Ткнул в Василе толстым пальцем в коричневой замше.

— Этот сколько?

Замфир хотел вытянуться по стойке смирно и отдать честь, но руки и ноги не слушались. Тогда он попытался вспомнить, должно ли отдавать честь старшему по званию, вися на крюке в неглиже, однако в уставе, который он знал наизусть, об этом не было ни слова.

— Пятнадцать рублей. Исключительно для вашего благородия, — услышал Василе голос Сабурова.

Господин интендант надменно втянул пухлую губу.

— В леях, будьте любезны, вы в королевстве Румыния, а не на одесском привозе!

— Извольте, ваше благородие. Тысяча пятьсот румынских леев.

— Помилуйте, за что такие деньги? Одни кожа да кости... Да, пардон... — интендант шевельнул алыми ноздрями, — дерьмо.

— Ну вы-то, ваше благородие, должны в мясе разбираться! Извольте видеть: филей постный, с тончайшими жировыми прослойками, — Сабуров бесцеремонно развернул Замфира и хлопнул по ягодице. — Диетический продукт! — провозгласил поручик. — Идеально подходит для послеоперационного ухода раненых солдат, — он понизил голос и доверительно добавил: — А также весьма полезен господам и дамам, блюдушим фигуру.

— Поучи меня мясо выбирать! — пробурчал под нос интендант. — За тысячу триста заберу всю тушу, — он повернулся к адъютанту: — Эту сразу в Добруджу, в госпиталь.

Замфир, покачиваясь, медленно поворачивался обратно к интенданту. По обе стороны от него в полумрак зала уходили бесконечные ряды туш, таких же как он, — молодых и не очень, худых, мускулистых, пузатых, дряблых, бледных и загорелых, высоких и низких, покрытых инеем и сочащихся влагой. Некоторые лица казались знакомыми.

Сабуров обхватил Замфира поперёк и сдёрнул с крюка, и тот впервые увидел поручика. Русые волосы Сабурова, обыкновенно взъерошенные, были расчёсаны на прямой пробор и щедро умащены бриллиантином, на щеках краснели свекольные круги, как у водевильного русского приказчика. Поверх засаленной рубахи с подкатанными рукавами он напялил длинный брезентовый фартук, щедро измазанный кровью.

— Ты, Вась, не бойся! — шепнул ему Сабуров. — Страшно только, если голова есть, а это мы сейчас исправим, — поручик достал из-за спины тесак и подмигнул Замфиру.

— Разделявать будем, ваше благородие?

— Нет-нет, не надо! — поспешно ответил интендант. — Хотя... Говорите, диетическое? Отрежьте голяшки отдельно, домой заберу.

— Прости, друг мой, но что поделать? — пожал плечами Сабуров и подмигнул сублейтенанту: — Кого-то — в бой, кого-то — в гуляш. Всё для победы! Се ля ви.

Поручик, примерившись, приложил тесак к босым ногам Замфира. От лезвия исходил невыносимый холод.

Василе проснулся, босой и замёрзший, под наброшенным кителем. Рука, неуклюже завёрнутая под бок, онемела. Он подтянул к носу колени, пытаясь спрятать озябшие ноги под слишком короткую форменную куртку. Перед носом свисала складками бархатная скатерть, цветом точь-в-точь — оконные портьеры в его комнате дома. Ему бы очень хотелось, чтобы за плотной тканью оказалась залитая солнцем улица Херэстрэу, но там была ножка стола и чёрные краги поручика.

Замфир с трудом оторвал щеку, прилипшую к коже дивана. Окно запотело, за ним угадывалось голубое небо. Где-то с другой стороны поезда переговаривались сербы. Кто-то храпел в дальнем конце вагона, и по сочному басу, богатому обертонами, Замфир решил, что это певучий отец Деян.

Он спустил ноги. Стол был убран, скатерть аккуратно разглажена. На вешалке висел чёрный мундир поручика. Всплыли обрывки ночных разговоров, его признание этому русскому в собственной слабости. Замфир зажмурился и тихо застонал. Сейчас, как никогда, ему хотелось отмотать время назад и послать поручика с его приглашением к чёрту. Сабуров говорил про великие открытия, которые Замфир не совершит. Что ж, машина времени господина Уэллса сейчас была бы кстати.

Рукомойник в туалетной комнате оказался совершенно пустым. Василе, стараясь не делать резких движений, обулся и вылез наружу. Воинский эшелон был слишком длинным для куцей платформы «Казаклия», и сублейтенант спрыгнул в мокрую от росы траву. Во дворе стрелочника зашёлся в яростном лае его пустобрех. У калитки Замфир увидел Сабурова в белой рубахе и с полотенцем на плече. Маковой стоял у конюшни, дверь в дом была приоткрыта, и Василе мог поспорить, что в темноте прихотливой прячется любопытная Виорика. После недолгой пантомимы Маковой понял, что нужно этому незнакомому офицеру, и махнул рукой на угол дома, за которым стоит рукомойник.

Замфир припустил вдогонку. Когда влетел в калитку, поручик уже скрылся за углом. Маковой окинул зильца ехидным взглядом.

— О-о-о, господин сублейтенант! Видок у вас — в гроб краше кладут. Всю ночь вагоны пересчитывали?

Замфир не ответил. Торопливым шагом, поглядывая на приоткрытую дверь, он прошёл к рукомойнику.

Сабуров, голый по пояс, намыливал мускулистый торс его, Замфира, жидким мылом. Серый обмылок Сырбу лежал на краю, сухой и растрескавшийся. На глазах у сублейтенанта поручик вылил в ладонь большую порцию густой белой массы и начал втирать её в волосы.

— О, Вась, доброе утро! — сказал он весело, как только заметил Замфира. — Раз ты тут, можешь на спину полить? — Василе молча взял кувшин и пошёл к колодцу. Он лил понемногу студёную воду на фыркающего и взрыкивающего Сабурова, белая пена размывалась, стекала на землю, оседала тающими хлопьями на траве, и с каждым наклоном кувшин казался тяжелей. — Кондуктор, шельма, воду не набрал. Артиллеристы его вчера напоили до синих чертей. Начальник поезда ему сегодня устроит! — поручик выпрямился, вытираясь полотенцем и посмотрел на Замфира. — А ты, брат, чего такой бледный? Коньяк хороший, да и выпил ты вчера совсем немного. Давай-ка взбодрись. Скидывай рубаху, я сейчас воды принесу.

— Поручик! — остановил его Замфир. Обливаться холодной водой, тем более при Сабурове, ему не хотелось. Он бросил ревнивый взгляд на изрядно опустевший флакон. — Должен признаться, обычно я не употребляю алкоголь. Прошлой ночью, в опьянении, я мог наговорить глупостей, прошу меня простить и не принимать мои слова серьёзно.

— Ну-у, друг мой, с тобой только в пьяном виде разговаривать и можно. Как протрезвешь — форменный человек в футляре. Извольте, сублейтенант, как скажете, — он повесил полотенце на шею и закрепил на рукомойнике маленькое круглое зеркальце. Налил из флакона мыла в руку. Так щедро налил, что Замфир с всхлипом втянул воздух. Сабуров перехватил его взгляд в отражении и в недоумении нахмурился. — Что за мученический вид, сублейтенант? — он озадаченно посмотрел на белую массу в своей ладони. — Вы мыла мне пожалели?

— Нет-нет, поручик, — поспешно ответил Замфир. — Но, честно говоря, это был единственный флакон у местного галантерейщика, и больше в этой глуши купить его негде.

— Велика беда! — усмехнулся Сабуров. — Я вам дюжину таких флаконов привезу, когда снова через вашу станцию ехать буду, — он намазал лицо пеной и раскрыл опасную бритву. — И вот ещё что, — он повернулся к Замфиру. — Мы с тобой ночью пили на брудершафт. Теперь — ни чинов, ни выканья. Помнишь, Вася?

— Конечно, Костёл.

К девяти утра ремонт был окончен. Ремонтники загасили факелы в ведрах с водой и укатили на дрезине. Паровоз развёл пары, бойцы затащили полевые кухни на платформу. Помощник машиниста с маслёнкой пошёл вдоль вагонов, простукивая буксы. После полудня Замфир с вчерашним бланком обошёл эшелон. Вид он старался сохранять официально-отстранённый, на приветствия встречных сербов отвечал сухим кивком. Из вагона первого класса ожидаемо высунулся Сабуров.

— Стой, Вась! — крикнул он, скрылся на миг внутри и спрыгнул на землю с белым

листочком в руке. — Держи! Тебе на память.

— Откуда это? — Замфир изумлённо разглядывал карандашный рисунок.

На намеченном штрихами диване сидел он, с тонкими усиками и скорбно вздетыми бровями, заложив ногу на ногу — весь из тонких линий, острых углов и размазанных пальцем теней, но совершенно узнаваемый. В его позе было что-то неправильное, сквозило некоторое неудобство, из-за чего рисунок вызывал тревогу и ощущение уязвимой хрупкости.

— По-моему, прямо в корень зрит, как думаешь, Вася? Скажи хоть что-нибудь.

Замфир оторвался от рисунка.

— Художник очень... талантлив, — выдавил он из себя.

— Это Люба, он заходил ночью, помнишь? Говорит, у себя, в Сербии, был большим художником, а бросил всё и стал санитаром. Едет в госпиталь, в Добруджу, — Замфир вздрогнул, вспомнив ночной сон. — Хотел картину писать... Да когда он её там писать будет? Я и выменял у него эскиз за вторую бутылку «Шустова». Мы ведь с тобой её так и не раскупорили, — впереди сипло засвистел паровозный гудок. Эшелон дёрнулся, проверяя сцепки. Помощник машиниста галопом промчался мимо, заглядывая между вагонами. — Пора, Вась. Бог даст, ещё свидимся. Давай обнимемся, — сказал Сабуров и, не дав Замфиру опомниться, обхватил его наискось и похлопал рукой по спине. — Бояться — не трусость, Вась, — тихо сказал он ему на ухо. — Никто заранее не знает: трус он или нет, — поручик отстранился, держа его за плечи и добавил: — И насчёт барышни, которую ты так старательно от меня прятал... Помнишь? Штурмуй эту крепость так, будто уже её взял, и всё получишься. Ну, бывай!

Он запрыгнул в вагон, и эшелон уехал на юг. Мимо, набирая скорость, пронеслись вагоны, высовывались по пояс весёлые сербы и махали руками.

Замфир не мог взять в толк, как можно улыбаться, когда поезд везёт тебя на убой, когда завтра или послезавтра тебя отправят под пули и сабли врага, и может быть, и даже скорей всего, убьют или покалечат. Что бы ни рассказывали священники, а погибнешь ты — и погибнет весь мир с тобой. Станет неважно, победит Румыния или проиграет, ведь ты об этом уже не узнаешь. Тогда зачем всё это?

Сублейтенант Замфир стоял в траве перед грубо сколоченной платформой с надписью «Казаклия», в глубоком гагаузском тылу, заложив руки за спину. Он изо всех сил старался сохранять высокомерный вид, хоть на деле ему хотелось вздёрнуть руку в древнем римском приветствии, отдать дань мужеству идущих на смерть. Поезд увозил на пылающий юг простых черныш парней с открытыми улыбками, таких же как он, только вовсе не страшась смерти, а не каменноликих легионеров.

Промелькнул последний вагон, и резко стало тихо. Приглушённо кудахтали куры на дворе Сырбу, шелестела трава от тёплого ветерка да потрескивали, отдыхая, шпалы, и, наверное, не было на Земле в этот миг более мирного и спокойного места.

— Просто они созданы для войны, а я — нет, — тихо сказал себе Василе.

Победа Замфира

Ближе к вечеру в сторону фронта проехал санитарный эшелон, без остановки. Уже учёный, Замфир близко к насыпи не подходил. Выставив руку с химическим карандашом, издали пересчитывал просветы между вагонами. В 21.00 телеграфировал в штаб сводку за день. Что с ней будет дальше и прочтёт ли её кто-нибудь вообще — об этом Василе пытался не думать. Грызла его догадка, что папа воспользовался своими связями в кабинете военного министра, чтобы запихнуть его на бесполезную и безопасную должность, грызла и злила, но не очень натурально. В глубине души Замфир был отцу благодарен.

Весёлые лица сербских добровольцев не шли у него из головы. Его воображение рождало живые картины вроде синемаатографа, только цветные и потому ещё более страшные. В них солдаты с улыбкой шли в бой, смеясь, убивали других солдат и со счастливым хохотом падали, разорванные картечью. Госпожа Амалия с крыльца позвала господина сублейтенанта ужинать, и Василе пошёл к домику Сырбу в глубокой задумчивости.

«Эти парни — из простых. Они выросли в бедности, на природе, — размышлял он, — бегали босиком, падали с деревьев, купались в холодной речке. Скорей всего... Нет, точно, их отцы применяли телесные экзекуции, как принято в простонародье, и они привыкли к розгам. Они дрались друг с другом, ломали носы, руки, ноги. От всего этого у них задубела кожа и огрубели нервы. Они стали привычными к боли, поэтому они её не боятся. Они просто чувствуют боль иначе, чем я. А что ждёт их впереди? Изнурительный труд на какой-нибудь фабрике или батраком у помещика, нищета, пьянство, ранняя смерть. Они не знают, что такое искусство, не ходят в театры, не

слушают музыку, не читают книги, им чужда поэзия, — Василе чувствовал, что он подбирается к очень важной мысли, которая всё сейчас объяснит. — Им не испробовать деликатесов, не погулять по Монмартру, не увидеть воочию величие Ниагарского водопада. Каждый их день будет посвящён одному: дожить до следующего дня. Много ли стоит такая жизнь?»

Замфир остановился в паре шагов от рукомойки и сжал пальцами виски.

«Всё дело в этом: в цене. Сабуров не прав! Сублейтенант Замфир вовсе не мясная туша по десять копеек за фунт. Ценность сублейтенанта Замфира включает всю его будущую жизнь: должности, карьеру, солидное жалование, фамильное состояние, которое он унаследует и преумножит, его женитьбу, его детей, их светлое и счастливое будущее. В итоговую цену войдут все обеды в дорогих ресторанах, все украшения и туалеты, которые он подарит жене, все подарки, которые найдут его дети под ёлкой. Безусловно, надо посчитать поездки на Ривьеру и в Висбаден, подлинники картин в их доме на Хэрестрэу, редкие манускрипты в библиотеке отца. И будущее авто, которое Замфир твёрдо решил купить после войны, тоже необходимо учесть. Разве можно сравнивать ценность жизни Василе с безрадостным и бесцельным существованием простого бедняка, как эти сербские добровольцы? Конечно, им проще идти на смерть, когда ничего нет и почти точно не будет. Их существованию и правда полтора червонца — красная цена».

Одновременно потрясённый и успокоенный этой мыслью, Замфир убрал руку от глаз и увидел свой флакон, опустевший на треть.

За ужином он был угрюм и задумчив. Амалия даже спросила, не заболел ли господин офицер. Замфир ответил, что ей не стоит беспокоиться, и ушёл в свою комнату. Не раздеваясь, он упал на кровать, подхватил с тумбочки томик стихов Эминеску и открыл наугад.

«Зачем тебе умирать?» — прочитал Василе. Он не любил стихи, но знал многие наизусть. Романтические, возвышенные, пугающие, трагичные, каждая строфа — для своего случая, и каждый раз не в строку. Мама любила вспоминать, как кружилась голова, когда папа читал ей Бальмонта.

*«Ты вся — безмолвие несчастья,
Случайный свет во мгле земной,
Неизъясненность сладострастия,*

Еще не познанного мной...» — проникновенно, вполголоса декламировала она, незряче глядя в левый угол гостиной, потом переводила глаза на отца, и они сверкали ярче хрустальных подвесок на люстре. Василе пытался добиться такого же блеска в глазах знакомых барышень, но они оставались равнодушны и к изящной испорченности декадентов, и к зловещему драматизму новых романтиков.

Сборник поэзии Эминеску Замфир купил в Галаце, перед тем как отбыть в Казаклию. Румынские войска наступали в Трансильвании, подданные королевства, и юные барышни особенно, испытывали небывалый патриотический подъём. Предусмотрительный Василе начал обогащать репертуар творениями румынских поэтов, а потрёпанную тетрадь с выписанными стихами для обольщения отложил до лучших времён. На новом месте службы он надеялся стать центром интереса местного общества, всю дорогу примерял образ пресыщенного жизнью столичного фата, снисходительно-патриотичного и умеренно-демократичного, а когда приехал, понял, что демонстрировать этот притягательный образ не перед кем.

«Не красавица ты, Марта...» — прочитал Василе.

«Не красавица ты, Виорика», — повторил он про себя.

Его чувства к дочери Сырбу постепенно менялись. Вначале — это была не лишённая приятности, но всё же грубая деревенская девчонка. Потом нарёк про себя брусом, на котором сможет отточить своё искусство покорения девичьего сердечка, но вот беда: он никак не мог решиться подойти к этому бруску. Наблюдая каждый день её живое, беззаботное личико, милую улыбку, белые, похожие на полупрозрачный фарфор, зубки, он находил в ней всё больше и больше привлекательного.

«Есть иные покрасивей, поумней и побогаче, только в мраморе студёном нет и проблеска души...» — подсказал ему Эминеску.

Да, Замфира притягивала её детская свежесть, наивная непосредственность. Он воспоминал бухарестских девиц с холодным взглядом из-под полуопущенных век, и рядом с Виорикой они показались ему безжизненными мумиями. Он скосил взгляд в книгу.

«...мне, когда груди высокой наслаждаюсь сладким пленом...»

Как выглядит женская грудь, Замфир знал лишь по полотнам живописцев эпохи Возрождения и затёртым порнографическим карточкам, гулявшим на офицерских курсах, а какая она на ощупь, мог только догадываться.

Василе закрыл глаза и представил Виорикку, её шею, особенно притягательную,

когда головка приподнята и чуть повёрнута в сторону, впадинку у основания, мягкую границу незагорелой кожи, спрятавшуюся в таинственном полумраке выреза. Он перебирал эпитеты и метафоры, которые могли бы описать её нежную белизну, но ни первый снег, ни морская пена не подходили. Скорей, она была цвета топлёного молока или даже сыра моале, его головка лежала сейчас на кухонном столе. Такой цвет, тёпло-сливочный, подходил больше всего, и на ощупь, наверное, грудь Виорики будет похожа — такая же мягкая и одновременно упругая. Подбирать гастрономические сравнения для девичьих прелестей — пошло, но жизнь и сама штука пошлая и примитивная, как сказал Сабуров. Василе мысленно положил руки на её обнажённую грудь и почти ощутил, как вжимаются в ладонь две тугие фасолки. Неспроста были все эти кулинарные метафоры — в животе сублейтенанта забурчало.

За ужином ел он мало и без аппетита — из головы не выходила опустевшая фляга с мылом. Как ни пытался он себя убедить в нелепости своих страхов — ничего не получалось. В ушах звучал голос Маковей: «Как закончится — умрёт!», ржали кони, под треск костра шуршали цветастые юбки, звенели мониста, как бубенцы на лошади, впряжённой в катафалк.

На кухне, на подоконнике стояла большая глиняная миска с плачинтами, накрытая чистым рушником. Замфир натянул войлочные чуни и бесшумно выскользнул в прихожую. У Виорики было тихо. Он прокрался мимо спальни Маковей и Амалии и занёс уже ногу над кухонным порогом, как услышал приглушённые всхлипывания. За дверь хозяйской спальни тихо плакала Амалия. Замфир замер, прислушиваясь. Заскрипели половицы под тяжёлой ногой, и Василе похолодел, но Маковей ходил по комнате, не приближаясь к двери.

— Ну не реви ты, — непривычно ласково сказал он. — Там больше половины осталось, на какое-то время хватит, а там... — Маковей красноречиво помолчал. — Не в моей воле.

— Неужели нигде нет? — сдавленно спросила сквозь рыдания Амалия.

— Лазареску сказал: всё идёт на нужды фронта. Может, в Яссах есть, но он туда поехать не может.

При упоминании Лазареску волосы на затылке Замфира зашевелились. Сомнений больше не было: он стал жертвой цыганской ворожбы. Василе хотел уже ворваться в спальню Сырбу и потребовать объяснений, но представил, как он, образованный человек, офицер королевской армии, признаётся в своих суевериях.

«Не существует никаких проклятий!» — не слишком уверенно сказал себе Василе и, больше не скрываясь, зашёл на кухню. Зажёг свет, налил молока в кружку. Только сел за стол с остывшей плачинтой, скрипнула дверь, и в проёме появился Маковей. Он зачерпнул из кадки воды и жадно, в несколько глотков, выхлебал.

— Что, не спится, господин сублейтенант? Переживаете, понимаю, — ехидно сказал он, вытирая рукавом мокрую бороду. — Пока ваши товарищи на фронте гибнут, вы пироги в тылу лопаετε.

Кусок натурально застрял в горле у Замфира. Пока Василе, с пылающими ушами, пытался его протолкнуть и дать отпор, Маковей повернулся к нему спиной и скрылся в спальне. Хлопнула дверь.

Аппетит пропал.

— Я служу там, куда меня направило командование! — с досадой сказал Замфир месту, где только что стоял Сырбу. Посмотрел на холодную плачинту с тыквой и доел без удовольствия, из чистого упрямства.

Потом Василе лежал на пуховой перине и смотрел на полную луну в окне. Он думал, как ярко и безжалостен свет невидимого сейчас солнца, что тени от бесконечно далёких кратеров видны даже в забытой Богом Гагаузии. Василе закрыл глаза. Перина под его спиной исчезла, больно врезались в тело перетяжки. Шесть цепких рук перенесли Замфира через изножье кровати и потащили куда-то. Окно исчезло, не было ни стен, ни потолка, небо открылось полностью. Шуршала, сминаясь трава. Луна прыгала в небе в такт шагам носильщиков и освещала их суровые бородатые лица, плечи, бугристые от разбухших мышц, просвечивала сквозь шёлк свободных рукавов алых рубах, бликовала на золотых серьгах. От похитителей исходил крепкий дух конского пота, сладковатый и тошнотворный. Василе попытался осмотреться, но тело не слушалось.

«Это сон, — подумал он. — надо только себя ущипнуть, и я проснусь». Но вот беда — руки и ноги он чувствовал, но даже шевельнуть ими не мог. Выпитое молоко плескалось в животе и мягко толкало в горло. Стрётот цикад растворился в треске множества костров. Лица носильщиков из бледно-палевых стали охрыными. Они замедлили шаг. Между их плечами появлялись и исчезали любопытные лица: смуглых детей, лукавых женщин, улыбающихся мужчин со сросшимися бровями.

— Шувано! — непонятно крикнул один из носильщиков и торопливо заговорил на

незнакомом языке, грубом и раскатистом. Василе сразу вспомнил чудовищный акцент поручика Сабурова.

Над ним появилось перевернутое лицо Маковей. В его буйной, кудрявой шевелюре справа качнулось массивное золотое кольцо. Губы стрелочника сжались в узкую полоску, на побагровевшей шее вздулись жилы. У Василе в голове что-то начало со скрипом проворачиваться, макушка похолодела, и Василе показалось, что лёгкий ночной ветерок забрался ему в голову. Маковей кивнул носильщикам, и ноги Замфира поползли вверх. Он узнал луг за железнодорожной насыпью, вокруг стояли люди в цыганских нарядах, за их спинами, среди пылающих костров, — расписные фургоны, вардо. Перед ним на корточках сидел Маковей со сложным рушником. У его правого сапога валялась огромная притёртая пробка, как от флакона с жидким мылом. Что-то полилось из головы Замфира, прохладная жидкость заструилась по стенкам его черепа, и чем больше её вытекало, тем холоднее становилось Замфиру. Похолодели кончики пальцев, лодыжки, бёдра, ладони рук. Следом за холодом накатывало онемение. Когда оно дошло до пояса, Маковей хлопнул в ладоши. Цыганёнок в алой, как у взрослых, рубахе привёл серого коня — очень худого, с острыми рёбрами, выпирающими сквозь шкуру. Маковей протянул мальчику рушник, и тот начал натирать лошадиные бока белой пеной.

— Пока хватит, — сказал Маковей по-румынски и вставил Замфиру в голову пробку.

Утром Василе стянул рубаху и долго рассматривал в зеркале своё тонкое, не слишком развитое тело, щупал торчащие, как у больной лошади из сна, рёбра. Под тонкой полупрозрачной кожей проступили синие вены. По босым ногам, бледным до голубизны, можно было изучать анатомическое строение стопы. Но больше всего Замфира пугало ощущение ветерка в голове. Он помнил его так отчётливо, что казалось, прохладный воздух и сейчас струится по извилинам его мозга.

— В мозге нет нервных окончаний, — сказал Замфир. Он слышал об этом от кого-то из друзей отца. И сам себе ответил скептически: — Да неужели?!

Он нагнулся за сапогами, и в голове зашумело, пол качнулся под ногами. Замфир упал на колени и пару минут стоял, уткнувшись лбом в край кровати и глубоко дыша. Когда головокружение прошло, он пообещал себе есть в два раза больше, даже если аппетита нет, и каждое утро делать гимнастические упражнения. На кухне гремела посудой Амалия, что-то тихо напевала Виорика, голосом низким, но не лишённым приятности. Вышел на крыльцо Маковей, судя по тяжёлым шагам. Василе с трудом поднялся и прислушался к себе: сердце колотилось, колени заметно дрожали, его подташнивало. Причины этой слабости он понять не мог. С полотенцем на шее и несессером под мышкой он вышел из комнаты и остановился у двери в кухню.

— Госпожа Амалия, госпожа Виорика, доброго вам утра, — сказал он и, после короткой заминки, поинтересовался деланно-равнодушным тоном: — Я тут слышал от сербских добровольцев одно слово, оно кажется мне знакомым, а откуда — ума не приложу. Не знаете, что значит «шувано»?

— Конечно знаю, цыганам сербы ваши кости мыли. Шувано — это вроде цыганского колдуна: судьбу может предсказать, порчу снять, а может и проклятие наложить, да со свету сжить. У нас-то в Кишинёве цыган этих много было, только колдунов вживую не видела, только редкая птица, а с шувани — женщинами-колдуньями — встречаться приходилось.

— Ну что раскудахталась?! — рявкнул сзади голос Маковей. — А ну быстро на стол мечи, а то господин сублейтенант синий вон, как покойник. Помрёт, не дай Бог, — с военного ведомства ни копейки не вытрясем! — Амалия осеклась на полуслове, заметалась между печью и столом. Маковей отодвинул Замфира и вошёл на кухню. Сел за стол напротив и вперился в Василе тяжёлым взглядом. — А вы, господин сублейтенант, больше бабьи суеверия слушайте. Достоинно офицера, ничего не скажешь! Если вся королевская армия такая, то неудивительно, что нас австрияки из Трансильвании гонят.

Обычно Замфир покраснел бы от злости, но сейчас сердце его заколотилось, а лоб покрыла испарина. В голосе Маковей ему послышались странности, которых он ранее не замечал: твёрдая «л», рокошущая «р», и Замфир понял, что у всего семейства есть русский акцент. Слабый, но есть. Он попытался разглядеть, проколото ли у Маковей правое ухо, но густые вьющиеся волосы полностью его скрывали.

— Опасные вещи вы, господин Сырбу, говорите! — процедил он, справившись с собой.

— Ну пойдёшь донос на меня в тайную полицию настроишь, счетовод!

Маковей не выказал ни капли страха, он сидел и нагло улыбался. Ничего не ответив, Василе развернулся на каблуках и ушёл к рукомойнику. Там он долго крутил в руках флягу с мылом. То ему казалось, что уровень снизился, то нет. Он плеснул

немного на ладонь, потом половину отбавил обратно. Умылся, как мог. Щетину бритвой скрёб почти насухую. Потом сбегал в комнату за химическим карандашом и отчертил уровень оставшегося мыла. Развернул флакон помеченной стороной к стенке и пошёл завтракать. На крыльце задержался: на кухне Маковой выговаривал жене на незнакомом языке. Замфир не сомневался, на каком.

«Они жили в Кишинёве, — вспомнил он, — конечно, они знают русский, но почему Маковой так резко оборвал Амалию? Может, испугался, что она выдаст его? Проговорится, что он — шувано?»

Месяц прошёл без особых происшествий. Румынские войска отступали из Трансильвании, немцы с болгарями шли к Бухаресту, на Добруджанском направлении положение было не менее плачевным, а сублейтенант Замфир на пригорке у железнодорожной насыпи считал вагоны. Военные эшелоны на юг почти иссякли, зато на север через Казаклию нескончаемым потоком шли поезда с ранеными и разбитой техникой. Замфир пересчитывал вагоны и каждый вечер отправлял сводку в штаб. Что бы ни происходило на фронтах, к нему претензий быть не могло: свои обязанности он исполнял скрупулёзно.

По ночам его мучили кошмары. Кудрявые цыгане пили его кровь, мылили ей свои бронзовые плечи, купали в ней лошадей. Кровь была белой и густой, как жидкое мыло. Наутро он бежал к своему флакону и сверял уровень. Экономил, как мог.

Раз в неделю навещался к Лазареску, но тот только разводил руками: «Эх, если бы я мог, господин военный, купил бы сразу целый ящик. Но нету, и не предвидится. Война, что поделать!»

Замфир плохо высыпался, но много ел. Каждое утро, зевая, выполнял гимнастические экзерсисы. За месяц Василе раздался в плечах, загорел, и даже лицо его утратило детскую припухлость. Не раз он ловил взгляд восторженных девичьих глаз, когда, обнажённый по пояс, толкал вверх деревянную колоду. Это был новый, неизведанный пока, вид удовольствия — чувствовать колебания, возбуждаемые в женской душе. Маковой, чуя неладное, зорко следил за их сближением и всегда появлялся ровно в тот момент, когда молодые оказывались одни.

Как-то вечером отец уехал в Чадыр-Лангу и остался там на ночь. Амалия с Виорикой легли спать, дом погрузился в тишину, а Василе никак не мог заснуть. Он лежал, вслушиваясь в звуки, которые издаёт старый дом, и ему очень хотелось, чтобы Виорика тоже сейчас не спала, а прислушивалась к тишине, тогда она услышит его осторожные шаги. Он поднялся с кровати и накинул китель, прихватил скатку с шинелью. Приложил ухо к щели в двери и ничего не услышал. Крадучись, вышел на крыльцо. Постоял немного, ожидая скрипа дверной петли, но дом Сырбу оставался безмолвным.

Замфир взобрался на тот пригорок, с которого обычно пересчитывал вагоны проходящих эшелонов. Сел на расстеленную шинель. Луна висела низко, и тень Василе ложилась аккурат на окошко Виорики. Он сидел, обкусывая горькие травинки, смотрел вдаль и всё ждал, когда зашуршит трава за его спиной... И она на самом деле зашуршала. От лёгких шагов за спиной сердце заколотилось, забило в клетке из рёбер, потом лопнуло, и горячая кровь растеклась по его телу. Замфир боялся шевельнуться, чтобы не расплескать своё счастье. Виорика опустила рядом на шинель.

— Господин офицер не возражает? — спросила она шёпотом.

— Господин офицер будет польщён, — сдавленно ответил он ей.

Она сидела, обхватив руками колени и смотрела на луну. Замфир любовался её милым, свежим лицом и никак не мог заговорить. Сжавшиеся лёгкие не хотели впускать в себя воздух.

«А ведь этот страх подобен страху смерти! — подумал Василе. — Смерть физического тела или смерть надежды, смерть желания, смерть будущего, каким оно могло бы быть... Нет разницы. Чтоб его преодолеть, нужно одно простое действие, как говорил Сабуров».

Он посмотрел на тонкое платице Виорики и сказал хриплым шёпотом:

— Вы замёрзли? Позвольте, я... — воздух кончился, и он просто накинул ей на спину свой китель. Коснулся её плеча сквозь сукно и задержал руку на секунду дольше, чем это было прилично. Волосы Виорики пахли лавандовой водой и свежей подушкой. Они коснулись его ноздрей, и Василе чихнул. Он сконфузился, а Виорика тихонько засмеялась и сказала:

— Вы такой милый!

Замфир наконец-то справился с дыханием.

— Знаете, моя дорогая Виорика... — начал Василе.

— О, я уже дорогая? — она иронично посмотрела на сублейтенанта.

— Да, дорогая, — твёрдо сказал он. — Я тут нашёл накануне у Эминеску... Вам нравится Эминеску?

Виорика молча пожалала плечами. Замфир начал читать, чувственно и проникновенно, низким волнующим шёпотом:

«Улыбнись! Взглянуть не смею... о, страдальца святая...»

— Почему это я страдальца? — перебила его Виорика.

— Так поэт написал, — растерялся Замфир.

— Вы же мне стихи читаете, значит, это про меня. Я страдать не хочу, совсем. И святой быть тоже.

Она чуть-чуть отстранилась от Василе, а ему показалось, что между ними землю расчертила трещина.

— «...ты улыбкой утоляешь нашу бrenную юголь...» — упрямо продолжил он, и с каждым словом трещина становилась глубже. Замфир вцепился в неё взглядом, как будто мог удержать отдаляющуюся девушку.

Он представил, как вводит её в дом на Хэрстрэу, почему-то пустой и тёмный. Они идут через комнаты, снимают белые чехлы с мебели. Пахнет пылью, старым деревом, мышиным помётом. Вот они убирают, вдвоём. Василе закатил брюки по колена, Виорика подоткнула подол своего платья, и они вместе моют пол. Готовят бутерброды на кухне и едят их прямо там, смеясь, брызгая крошками и запивая свежесваренным кофе. И есть в этой весёлой неустроенности что-то такое свежее и нежное, как липкий от сока росток будущей бурной и красивой жизни. Этого не было в его прежних мечтах, где он, как Пигмалион, в изящном доме родителей ваял из Виорики светскую даму. Здесь они, как два подростка с общей тайной, ищут, где укрыться от любопытных глаз. Обнимаются в заброшенном доме, босиком, на ещё мокром паркете, рядом валяются мокрые тряпки, в ведре в грязной воде плавают дохлые мухи. Виорика проводит кончиками пальцев по его щеке, они дрожат, в её движениях — нетерпение, за спиной — ветер из соседнего парка колышет занавески, за ближайшей дверью — родительская спальня с огромной кроватью, с которой они ещё не успели стянуть чехол. Он смотрит в её глаза, а она — в его, и они, как близнецы, чувствуют одно и то же.

Замфир не сразу понял, что не в мечтах, а наяву глаза Виорики оказались очень близко, и что-то тёплое и мягкое, но внутри упругое коснулось его губ. Он задохнулся, но воздух перестал быть нужным. Всё, что было нужно Василе, теперь исходило из Виорики через этот поцелуй, через любопытный язычок в его рту, как исходит плоду от матери всё, в чём он нуждается. Он не хотел прерываться, но Виорика отодвинулась от него и тихо спросила:

— Тебе нравится вкус?

— Это самый восхитительный вкус на свете, Виорица, — искренне выпалил Замфир.

— Это манпасье господина Лазареску.

— Мон-пан-сье, — поправил Василе.

— Я запомню, — серьёзно кивнула Виорика и снова прильнула к его губам. Они опустили на шинель, лицом друг к другу, Замфир держал её голову в своих ладонях и был не в силах опустить руки ниже, хоть, может, Виорика была и не против. Они лежали, касаясь коленями и целовались, пока на траву сбоку от дома не упало пятно света. Василе увидел его и прошептал: кажется, твоя мама проснулась. Виорика ойкнула и шикнула ему:

— Спрячься за насыпью. Как всё стихнет, вернёшься.

Василе перекатился через рельсы, Виорика убежала к нужнику. Он осторожно приподнял голову. Амалия, укутанная в шерстяной платок, вышла на крыльцо. Увидела дочь, шагающую по двору, и злым шёпотом спросила:

— Где тебя нелёгкая носит?!

— В отхожее ходила! — в том же духе ответила Виорика.

— Смотри мне! — погрозила мать кулаком.

Кулак Амалии немногим уступал пуговому кулаку Маковея, но девчонка непочтительно фыркнула и скрылась в доме.

Когда всё стихло, Замфир выждал немного и вернулся в спальню. В эту ночь он спал без сновидений и проснулся легко. Открыл глаза, поднёс пальцы к носу — они всё ещё пахли лавандовой водой. Что, в сущности, произошло? Коснулся Замфир девичьих губ, узнал их теплоту и мягкость и лежит теперь, глупо улыбаясь в потолок, а в жилах стучит чистая сила, бьётся, наружу просится. Как сказочный герой Фет Фрумос, слезой рождённый, Василе хоть свод небесный разобьёт, всех врагов сокрушит, любимую спасёт. Страх ушёл, как и не было: нечего бояться, когда всемогущ и бессмертен.

Замфир взял с тумбочки томик Эминеску, покрутил, не открывая, и бросил обратно — не хочет он больше ни стихов, ни вздохов. Перед зеркалом осмотрел свой набирающий форму торс, напряг бицепс — пока небольшой, но каменно-твёрдый, довольно улыбнулся и подмигнул себе в зеркале, совсем уже по-сабуровски.

Он просмотрел телеграфную ленту: ближайший эшелон следовал из Добруджи в

Яссы около полудня. Он накинул полотенце на шею и пошёл умываться.

На дворе светило солнце, но уже не так уверенно: в тених прятался холод, а роса напоминала о скорой утренней изморози. Октябрь надвигался на Гагаузию с неумолимостью германцев, подступающих к Брахову. Амалия на поленице рубила берёзовые чурки. Её лицо раскраснелось, прядь волос прилипла ко лбу. В простом, приятном лице матери Замфир увидел черты дочери, каких не замечал раньше, и нежность, которую он испытывал к Виорике, коснулась и её.

— Госпожа Амалия, доброе утро! — сказал он. — Давайте я вам помогу!

Амалия выпрямилась, вытерла рукой пот со лба.

— Да что вы, господин офицер, уместно ли вам таким заниматься?

— А вам? Что же господин Сырбу, не вернулся ещё? — Замфир мягко забрал топор из её рук и взгромоздил на пенёк охватистый спил.

— Дай Бог, к вечеру доберётся, — Амалия с сомнением посмотрела на Замфира. — А вы, господин офицер, дрова хоть раз в жизни рубили?

— Нет, — без смущения ответил он. — Но если вы покажете, как — научусь.

Вся жизнь сегодня казалась Замфиру открытой и солнечной, словно луг за железнодорожными путями, и всё в ней было просто: поставить полено, ударить лезвием по центру, перевернуть, ударить обухом об пенёк. Простые движения, одно за другим. Амалия с опаской поглядела пару минут, потом успокоилась.

— Спасибо вам, господин офицер. Я тогда пойду плачинты налеплю. Вы только не торопитесь. Полешко поставили — и бейте, рукой не придерживайте. И много не надо: одну кладку на руки соберёте и приносите.

Амалия ушла, появилось любопытное лицо Виорики в окошке, и Замфир выпрямился, рисуясь и поигрывая топориком.

За завтраком Амалия улыбалась ему радушнее обычного и всё подкладывала в тарелку. Только она отворачивалась, Замфир ловил сияющий взгляд Виорики и был совершенно счастлив. Пока Маковая не было на кухне, он примерил на себя новую роль — главного мужчины в доме, и эта роль ему неожиданно понравилась. Неужели только теперь, двадцати пяти лет от роду, он становится взрослым? Ведь вся жизнь его до этого момента была сплошным следованием чужим указаниям. По указанию отца он пошёл в коммерческую академию, по его настоянию перевёлся на офицерские курсы, его стараниями оказался на платформе Казаклия. Даже за галацкой кухней Василе пытался ухлёстывать, чтобы не расстраивать маман. А было ли в его жизни что-то своё: то, что он сам захотел и сделал? Теперь было.

Торжество Замфира

После полудня на станцию Казаклия прибыл санитарный поезд. Цепочка легкораненых с жестяными вёдрами выстроилась к водокачке. На этот раз не было радостных криков и зажигательных танцев. Бойцы в серых шинелях поверх исподнего смодили самокрутки и тихо переговаривались между собой на знакомом наречии, похожем на поповский речитатив. Замфир завертел головой, выискивая среди бурых тузюрок чёрный китель.

Раненые сидели на подножках вагонов, сбивались в ватаги у насыпи, качали рычаги насоса, наполняя резервуар паровоза. На щеголеватого румынского офицера они смотрели недружелюбно, по сторонам — настороженно. Чуждые, грубые, слишком широкие лица, бугрящиеся скулы, обезьяньи рты в русой щетине. Ежась под неприязненными взглядами, Замфир пробирался вдоль состава, протискивался с планшетом наперевес сквозь плотные группы, где нельзя было обойти.

— Господин офицер! — окрикнули его с подножки одного из вагонов. Смуглый мужчина в белом халате под горло свесился из тамбура и махал рукой. Его лицо, густо заросшее чёрной бородой, показалось Василе знакомым. — Господин офицер, подождите! — мужчина спрыгнул в траву и, прихрамывая, устремился к Замфиру. — Рад вас видеть в добром здравии, господин потпоручник!

— Сублейтенант Замфир, к вашим услугам, — козырнул Василе.

— Простите, господин сублейтенант. Кажется, у нас осталось одно незавершённое дело.

— Какое же?

Мужчина пытливо заглянул в глаза Замфиру.

— Вы что, меня не помните? Я рисовал вас в купе у русского поручника, Сабурова. Вспоминаете?

Конечно, он вспомнил. Рисунок лежал в тумбочке, и Замфир не раз доставал его и изумлялся выразительности его резких линий.

— Конечно помню. Примите искреннее восхищение вашим мастерством.

— Благодарю вас, но я хотел бы закончить работу. Вы позволите мне написать ваш портрет? У вас очень интересное лицо.

— Чем же? — удивился Замфир. Он безуспешно пытался вспомнить имя художника. В нарушение правил приличия, тот не представился, а как его именовал Сабуров, вылетело из головы. Кажется, в его имени было что-то волчье. Мужчина в халате уловил напряжение на лице сублейтенанта и спохватился.

— Ой, простите, поручник так и не представил нас друг другу. Любомир Иванович, — он панибратски обнял Замфира за плечи и повёл вдоль поезда. — Я только вас увидел, подумал, что вы похожи на атланта, который держит рушащийся балкон.

— Может, небесный свод?

— Для небесного свода нужен натурщик погрузнее, — рассмеялся художник. — В вас ещё слишком много юношеского, невинного. Ничего, что я так говорю?

Замфиру было неуютно. Он не любил, когда кто-то приближался к нему слишком близко, а уж тем более вёл куда-то, обняв за плечи, но, вместо того чтобы высвободиться и отойти на удобную дистанцию, Василе густо покраснел.

— Ну не смущайтесь! Чистота и наивность во взгляде — бесценное сокровище, жаль, что мы владеем им так недолго. А на войне его и вовсе не найти. И вот взять вас: такой хрупкий, держите неподъёмный груз, который может вас раздавить, а опора под ногами не надёжнее ваших плеч... — художник застыл, задумчиво глядя вперёд, вдруг дёрнулся всем телом, как бывает, когда падаешь в полусне. Руки его отпустили плечи Замфира, и тот с облегчением отшатнулся. — Простите, господин лейтенант, и поверьте, в этом нет ничего оскорбительного, просто я таким вас увидел, когда проходил по вагону и заглянул в купе Сабурова.

— Вы сделали неверный вывод. Я устал и был нетрезв.

— Ай, оставьте! — художник заложил руки за спину и не спеша двинулся вдоль поезда. — Знаете, один критик сказал, что у меня талант выворачивать человеческую натуру, словно спелый гранат, ягодами наружу. Я понимаю вашу тревогу: молодым особенно непросто. У вас были планы, мечты, уверенность в завтрашнем дне, а потом коронованные старики что-то не поделили и решили повоевать. Ну, потягали б друг друга за жидкие волосёнки, и дело с концом. Зачем молодых отправлять в эту бойню? Зачем убивать будущее своих народов? Вы чувствуете, что вас обокрали. Нет, вас ограбили, забрали жизнь.

— А вы? У вас ничего не забрали? — спросил Замфир резче, чем стоило. Иванович был слишком проникновенен. Настолько, что в голову Замфира закралось: а не читает ли серб мысли. Образ, что он рисовал, был точен, но совсем не таким Замфиру хотелось выглядеть в чужих глазах, и оттого зарождалось в нём глухое недовольство. Художник горько усмехнулся.

— Когда чёртов Принцип застрелил австрийского святошу, мои друзья ликовали. Они открывали шампанское за великую Югославию, а я заперся в мастерской. Мне захотелось выпить в одиночестве. Вместо этого я всю ночь просидел перед закрытой бутылкой коньяка, уставившись в одну точку. Ни пить не мог, ни писать. Я думал о том, что все научные открытия в мире превращаются в оружие, а в последние годы было слишком, слишком много открытий... Если честно, ни о чём таком я не думал, все эти мысли пришли позже, а тогда я просто впал в состояние, схожее с кататоническим ступором. Я смотрел, как гаснет свет, затихает улица, сгущается тьма... Безудмно и безвольно, как мертвец. Вы когда-нибудь представляли себя мёртвым, господин сублейтенант? — Замфир покосился на художника и ничего не ответил. — В детстве я думал, что мертвец всё видит, слышит и чувствует. Смерть лишает только воли и превращает в созерцателя. Усопший лежит на кружевных подушках, над ним сменяют друг друга скорбные лица, горячие губы обжигают лоб, тихо щёлкают колючки на карнизе — это ветер колышет лёгкие занавески. За распахнутым окном — лето, пахнет липовым цветом и финомом. Потом опускают крышку, и становится темно... И он смотрит в темноту, до тех пор пока глаза не превратятся в два тухлых перепелиных яичка, но ему всё равно — он уже умер. В ту ночь, двадцать восьмого июня четырнадцатого года, я узнал, что это так.

— Ну, ходите вы сейчас, как живой, — с угрюмым сарказмом заметил Замфир.

— Как живой, да... Я пытался жить, как раньше, и многие мои знакомые тоже. Нам объявили войну, а мы ходили в театры, встречались в ресторанах, устраивали выставки, как будто ничего не случилось, как будто всё это происходит в какой-то другой Сербии. Сплошной самообман. Что-то изменилось, то ли в воздухе, то ли в самих нас. Утро я начинал с чтения газет, а потом весь день перед глазами стояли сводки. Еда потеряла вкус, вино — аромат, живопись стала хаотичным нагромождением цветных пятен. Даже свет изменился. Он стал... — художник задумался, подбирая слова. — Он пропитался темной, как перед сильным ливнем. И разговоры... Боже, они сводили меня с ума. Говорили все, без умолку, не переставая, и только об одном: война, война,

война. Бесконечная говорильня. Официант в ресторане, принимая заказ, выкладывал мне план австрийского генштаба, будто видел его собственными глазами, — он невесело усмехнулся. — Тогда по всему Белграду открылись мобилизационные пункты. Перед ними стояли длинные очереди из молчаливых мужчин. Вот там почему-то про войну никто не разговаривал. В один из дней я понял: я больше не могу притворяться, что ничего не происходит, и встал в такую же очередь.

— И как, ожили?

Художник невесело рассмеялся.

— Запахи я теперь точно чувствую. Обычно кровь, дерьмо и карболку, но во всём их разнообразии. Вы спрашивали, что у меня забрали? Сначала, как у вас, привычную жизнь, а потом родину. Сербии больше нет. Мы мечтали о великом государстве южных славян и потеряли своё королевство. Правительство в изгнании заседает на Корфу, в Белграде хозяйничают австрийцы, а мы воюем в чужих странах в надежде, что нам помогут вернуть свою. Так вы позвольте мне написать ваш портрет, господин сублейтенант?

— Прямо сейчас? — спросил Замфир, ошарашенный внезапным переходом.

— Почему нет? Натура уходит, я боюсь не успеть запечатлеть то, что видел. По памяти всё не то.

— Куда натура уходит? О чём вы, господин Иванович? Я не собираюсь умирать!

Замфир оглянулся беспомощно на дом Сырбу. Там, за углом, невидимая отсюда, стояла фляга с жидким мылом, пустая уже наполовину. За событиями последних дней он думать забыл про Маковея и его цыганское проклятие. Василе с подозрением перевёл взгляд на художника — чёткие, резкие черты лица и ни малейших следов индийской припухлости.

— Я не про смерть, упаси Боже, — улыбнулся тот. — Я про того мальчика, который дремал на диване в купе Сабурова. Вы очень быстро взрослеете, я вижу, как вы меняетесь, и грущу, ведь истинная красота — в контрасте. Дайте мне вас написать до того, как военная форма станет вам к лицу! Ваш портрет будет настоящим символом молодости, похищенной войной.

— Прошу прощения, но я на службе. Мне нужно идти.

— Да бросьте! В чём заключается ваша служба? Ходить вдоль вагонов? Поезд благополучно уедет и без вашего участия.

— Господин Иванович, вам лучше вернуться к больным. Как-нибудь в следующий раз. Честь имею!

Замфир ускорил шаг. Чтобы не смотреть в умоляющие глаза художника, он уткнулся в планшет, где все вагоны были давно вписаны в нужные графы. Намёки художника на его инфантильность и бесполезность разозлили Василе, и упрямство перебороло тщеславие. Он зашагал к хвосту поезда быстро и не оглядываясь, а расстробованный Иванович смотрел ему вслед.

— Сабурова не хотите проведать? — крикнул он в спину Замфиру.

Замфир развернулся на каблуках и удивлённо уставился на художника.

— Он здесь?

— Да, шестой вагон с хвоста. Только Коста сейчас не слишком общителен.

— Почему вы не сказали раньше?

— Вы не спрашивали... — художник отвёл глаза. — Хорошо, я надеялся, что смогу вас убедить позировать...

— Вы... — Замфир не договорил. Он махнул в раздражении рукой и быстрым шагом направился к эшелону.

— Господин сублейтенант! — в голосе художника было столько отчаяния, что Замфир задержался на верхней ступеньке.

— При следующей встрече постараюсь найти для вас время, обещаю, — сказал он и скрылся в вагоне.

— При следующей встрече... — проворчал Иванович. — Какая уверенность в завтрашнем дне!

Что ждал Замфир? Синий вагон первого класса с кожаными диванами и ручкой-ручкой? На подножке шестого вагона сидел хмурый солдат с замотанной головой и смолит самокрутку. Он нехотя сдвинулся, пропуская незнакомого офицера в серо-голубой форме. Замфир взлетел в тамбур и сразу увяз в тёплом и плотном облаке: горло перехватило от тяжёлого духа кровавых бинтов, карболки, аммиачной вони промокших простыней. Вдоль стен тянулись ряды двухъярусных полок с ранеными. Он шёл по проходу под стоны, храп, невнятное бормотание, молитвы. Ловил во взглядах зависть увечного к здоровому и отводил глаза. Сабурова среди них не было.

Василе уже пожалел, что поддался странному желанию увидеть своего случайного знакомого. Ничего, в сущности, их не связывало, кроме бутылки коньяка. Он замедлил шаг и совсем уже было собрался покинуть это жуткое место, как из-за ширмы вышла

сестра милосердия в белом монашеском платке.

— Что вам угодно, господин сублейтенант? — спросила она, взглянув на его погоны.

Её безупречный французский, спокойное достоинство в голосе и движениях говорили о благородном происхождении. Под глазами на некрасивом, но породистом лице лежали глубокие тени. Не дожидаясь ответа, она подошла к соседней койке, тонкими пальцами с коротко остриженными ногтями достала судно. Пахнуло тепло и гадко, и Замфир поморщился. Он с потаённой тоской отмечал детали: грубое сукно её иноческого одеяния, застиранные пятна крови, огрубевшая кожа изящных рук, давно забывшая о дорогих кремах. «Эта жизнь не для таких, как она», — подумал Василе, а вслух сказал:

— Сублейтенант Замфир, к вашим услугам. Я ищу товарища, поручика Сабурова. Мне сказали, он здесь.

Сестра указала на одну из коек.

— Штабс-капитан Сабуров. Только прошу вас, не утомляйте его долгими разговорами.

Замфир учтиво кивнул. Без её помощи он друга Костэла не нашёл бы.

Новоиспечённый штабс-капитан отвернулся к окну, натянув одеяло до ушей. В промежутках между бинтами на туго замотанной голове торчали пучки сплывшихся волос. Они сально блестели и совсем не походили на русую шевелюру Сабурова. Загипсованную ногу ремнём притянули к раме верхней койки. Василе склонился над раненым другом.

— Костэл... — нерешительно позвал он. Сабуров нехотя повернулся.

— Вася? Мой румынский друг, рад видеть, — сказал он неискренне. Лицом штабс-капитан походил сейчас на забудьгу после крепкой взбучки — одутловатый, желтушный, с длинным шрамом через щеку, перехваченным грубыми стежками. Левый глаз под набухшими веками налился кровью. — Зачем ты здесь? Мундир запачкаешь.

— Не говори глупости, Костэл, — Замфир завертел головой в поисках табурета.

— Садись на край, места хватит, — Сабуров подоткнул одеяло и немного сдвинулся к окну. — Кто сдал меня?

— Художник. Любомир... Фамилию забыл.

— Любка, трепло, — пробормотал Сабуров по-русски, но Замфир догадался.

— Почему ты не послал за мной? — спросил он. — Я б собрал корзинку, как в прошлый раз. Кажется, стряпня госпожи Амалии пришлась тебе по вкусу.

— Прости, друг мой, задремал. Анна Львовна ставит такие уколы, что спишь от них сутками.

Замфир выглянул в проход. Сестра милосердия за ширмой складывала чистое бельё.

— Не удивился бы, узнай, что она ваша принцесса, — сказал Замфир.

— У нас говорят: великая княжна. Нет, Вася, хоть ты и недалёк от истины. Её сиятельство — княжна, но не великая, хоть и древнего рода. Как жизнь твоя? Смотрю: загорел, возмужал, в плечах раздался. Сельский воздух действует благотворно, — Замфир стыдливо отвёл взгляд. В голосе Сабурова ему послышался упрёк. — Как крепость? Сдалась? — не унимался штабс-капитан. — По глазам вижу, что выкинула белый флаг.

— Ничего достойного упоминания, — сухо ответил Замфир. — Лучше расскажи, что случилось с тобой.

— Ничего достойного упоминания, — в тон ему ответил Сабуров. — Упал. Всё одно, что с кровати свалиться, только очень высокой.

— Матерь Божья, — Замфир мелко перекрестился. — Аэроплан разбился?

— В труху, а я, видишь, жив. Покрепче моей птицы оказался. Эх, жалко «Ньюпор», такой красавец был!

— Представить себе не могу, как это... Ничего непоправимого?

— Пара царапин. Правда, флотский коновал хотел мне ногу отнять — не дал. Везу к кишинёвским хирургам как великую ценность — мне на ней ещё с невестой танцевать.

— У тебя есть невеста?

— Конечно есть, — Сабуров растянул распухшие губы. — Надо только выбрать, какую из них под венец поведу.

При прошлой встрече такое бахвальство его бы задело, а сейчас он чувствовал свою общность с удачливым в любви штабс-капитаном, ведь и у него теперь есть своё тайное знание.

— Бонвиван! — Замфир в притворном осуждении покачал головой. — Расскажи лучше, как это было.

— Говорю же тебе: не о чем рассказывать совершенно, обиденное происшествие.

— За обиденное происшествие штабс-капитана не дают, — упрямо гнул своё

Замфир.

— Узнаю друга Василия: жизнь проходит в непримиримой борьбе со страхом. Ты похож на старого развратника в ожидании пикантных подробностей.

Замфир вспыхнул. Щека нервно дёрнулась, он встал, дёрнул раздражённо подбородком:

— Рад, что вы в добром здравии, штабс-капитан, а теперь прошу меня извинить. Служба.

— Постой, Вась, — Сабуров протянул к нему руку. — Ну не сердись. Сказал обидное, прости болвана. В твоих расспросах и впрямь есть что-то маниакальное, а смысла в них нет. Ты как неопытный влюблённый, читаешь любовные трактаты и думаешь, что они помогут, а надо просто начать действовать. Нет ответов на твои вопросы, и готовых рецептов нет. Вась, — Сабуров ухватил его за запястье, пальцы штабс-капитана были холодными и влажными. Василе помнил его крепкое, горячее рукопожатие по пути на фронт. — Попроси у Анны Львовны стакан воды, пожалуйста!

Замфир отнял руку и зашёл за ширму. Бельё идеально ровной стопкой лежало на полке. Сестра на примусе кипятила шприцы. Замфир кашлянул.

— Ваше сиятельство... — робко сказал он.

— Просто Анна Львовна, — попросила она.

— Простите, Анна Львовна, могу я попросить у вас воды для штабс-капитана Сабурова?

Сестра наполнила стакан из жестяного бака и протянула его Василе.

— Господин сублейтенант! — она не торопилась разжимать пальцы и говорила очень тихо. — Вряд ли вашего друга мучает жажда. У Константина Георгиевича в гипсе фляга со спиртным. При его сотрясении мозга пить ему нельзя, но ваш визит благотворно на него подействовал, поэтому прошу вас как его друга, как человека рассудительного, наконец, проследите: не больше трёх глотков. Обещаете?

— Клянусь, Анна Львовна, если понадобится, заберу у него флягу и выкину.

— Это лишнее. Константин Георгиевич — офицер. Просто возьмите с него слово.

— Обещаю.

Замфир вернулся к Сабурову. Тот выпил воду залпом и потянулся к гипсу.

— Вася, присмотри за Анной Львовной...

— Это ни к чему, Костэл. Она знает про твою флягу.

— Да? — удивился Сабуров. — И что она сказала?

— Сказала, что у тебя сотрясение мозга и пить тебе нельзя... — ответил Замфир и добавил, видя его сомнения: — Но разрешила сделать три глотка. Ты должен дать слово.

— Вот это точно излишне. Перечить её сиятельству я точно не стану. Три, так три, — он булькнул в стакан прозрачной жидкости и подал его Замфиру. — Давай, друг мой, за четвёртую звёздочку, — Сабуров глотнул из фляги, дёрнулся кадык под гусиной кожей. Замфир подозрительно понюхал напиток. — Пей, боевой трофеей. У болгар наши солдаты целую телегу отбили. Давай, Вась, ты головой не ударялся. Я тебе ещё налью.

— Нет, Костэл, второй раз я на это не куплюсь. На твою звёздочку и глотка хватит.

— Дёшево ты меня ценишь! — Сабуров отсалютовал флягой: — Помянем мою птицу, Покойся с миром, Ньюпор семнадцатый, безоблачного тебе неба в твоём авиационном раю!

— Не кощунствуй! — поморщился Замфир, но из стакана всё же отхлебнул. — Нет у аэроплана души.

— Много ты знаешь! — усмехнулся Сабуров и сделал большой глоток. — Осточертела виноградная сивуха. Война кончится — до конца жизни к этой ягоде не прикаснусь, — Замфир выжидающе смотрел ему в глаза. — Не отвяжешься, — выдохнул Сабуров. — Чёрт с тобой! Ну, слушай. Меня послали в разведку. По нашим данным, до болгар было далеко, я летел низко, без опаски. Вдруг с земли началась заполосная стрельба. Я выглянул: по полю мечутся турецкие башибузуки. Видно, за ночь выдвинулись, а тут я, прям над их головами. Просиди они тихо, я б и не узнал об их манёвре, да, видать, нервишки у кого-то сдали. Я пошёл вверх, лёг на крыло, но турки выкатили пулемёт и давай садить по мне. Я рванул выше. Пули свистят, солидно: не револьверные комарики — шершни. Между моим задом и ими — тонкая фанерка. Такой шершень пробьёт и не заметит. Ньюпор машина шустрая, но пуля быстрее, а этот гад бьёт очередями, патронов не жалеет. Карабкаюсь вверх, молюсь: я близко совсем, ну должен услышать! Думал, уже так, на аэроплане, перед святым Петром и предстану, да, видать, сильно нагрешил. Перкаль в клочья, в дыры ветер свистит, аэроплан валится в правый крен. Я тяну ручку, а она болтается, как ложка в стакане: тяги перебило. Несусь вниз и какую-то полную ерунду думаю: отстегнётся ремень, и пропеллер меня в мелкий фарш измолотит. Экий нервический кунштюк: через несколько секунд от

меня мокрое пятно останется, а я себе новые кошмары придумываю. Когда совсем чуть-чуть до земли осталось, заглох мотор. Тихо стало, только ветер в ушах свистит. Тогда стало по-настоящему страшно.

Сабуров отхлебнул из фляги и решительно сунул её обратно под гипс.

— Ты говорил про простые действия... — робко вставил Замфир.

— А какие простые действия, когда ты кувыркаешься, как котёнок в обувной коробке? Рычаг дёргать? Так тяги оборваны. Нет действий. Ничего сделать нельзя: машина не слушается. Кричать можно, руками махать, но с того медленнее падать не будешь. Я и кричу, падаю. Медленно проворачивается винт, увеличиваются деревья — чем дальше, тем быстрее. Говорят, вся жизнь в голове пролетает, а у меня ничего, будто и не жил. Думаю только: «Как долго будет больно перед смертью?»

Замфир слушал, затаив дыхание. Это была одна из тех военных историй, в которые до конца может поверить только тот, кто сам прошёл через подобные испытания. Кто привык к близости смерти, принял её как неизбежное зло, научился терпеть и приноравливаться. Такой человек словно цирковой дрессировщик, который между выступлениями живёт в клетке со своими животными. В любой момент тигринные клыки могут вонзиться в его плоть, но он не выказывает страха, ведь хищники чуют страх, и кормилец сразу станет добычей. Он учится не думать об этом, чтобы отсрочить неотвратимое, чтобы продлить эту страшную и невыносимую, но всё же жизнь.

Но как прочувствовать историю Сабурова Замфиру? Самая сильная боль, которую он испытал, была в кресле дантиста, и жизни его никогда и ничего не угрожало, не считая цыганских суеверий. Слова русского лётчика складывались в понятные предложения, но ни увидеть, ни ощутить то, что видел и ощущал пилот падающего аэроплана, Василе не мог. Он напряжённо ждал озарения, вспышки, откровения, а их всё не было.

— Я проломился сквозь ветви деревьев, чиркнул дном о край обрыва и носом влетел в воду.

— Слава Богу! — Замфир осенил себя двоеперстием, на что Сабуров невесело усмехнулся:

— Вода, друг мой, пожёстче земли бывает. На такой скорости, плашмя — что река, что стена — один коленкор. Повезло, что деревья погасили скорость. Удар выбил из меня дух. Очнулся — кругом тьма, пузыри, водоросли качаются. Вишу на ремнях вверх ногами. Воздуха нет, вот-вот захлебнусь. Как выпутался — не помню, думал только о том, чтобы не паниковать — тогда верная гибель. Человеческое естество — оно глупое, даже под водой дышать хочет. Вырвался, всплыл, вдохнул воздуха с водой вперемешку. Воздух слаще и пьянее шампанского мне тогда показался. Только опять нырять пришлось — башибузуки на берег высыпали. Как меня заметили — палить начали. Плыл под водой сколько мог, а они по берегу, по течению. Достали меня всё-таки. Одна пуля по щеке чиркнула, вторая в ногу застряла. Я даже не сразу почувствовал: дёрнуло что-то, а я дальше гребу. Видно, это меня и спасло. Турки кровь в воде увидели и решили, что утоп. Отрядили наблюдателей дальше по реке. А я к берегу погрёб. Горячка прошла, и сразу боль накатила такая, что решил: пусть лучше добьют, чем такое терпеть. Еле дотянул до камышей. От удушья и боли уже ничего не соображал. Выбрался на берег. Я врага не вижу — значит, и он меня не видит. Рубаху разорвал, ногу перетянул, как смог, и потерял сознание. Потом меня казачий разъезд подобрал. Я, как очнулся, сразу вахмистру про турок на том берегу сказал. Наши успели выдвинуться и оборону по реке укрепить. Вот за это дали штабс-капитана и «Геоorgia» посулили. Всё. И что тебе с моей историей? Ни к чему всё это, Вася. Или езжай на фронт да испытай себя в деле, или каждый день Бога благодари, что ты здесь, а не под германскими пулями, а от рассказов этих — никакого толку, — Сабуров стукнул горлышком фляги по стакану Замфира. — Давай, друг, пусть ангел-хранитель убережёт от таких бедствий. Не должно смертному так испытывать свою судьбу.

Замфир опростал стакан от остатков ракии и шумно выдохнул.

— Что будешь делать после госпиталя? На покой, остепенишься?

Сабуров как-то воровато взглянул на Замфира и уставился в небо за окном. Замфир заметил, как подрагивают губы его русского друга, удерживая рвущиеся слова, и устыдился своего постыдного любопытства.

— Прости, Костэл, тебе отдохнуть надо.

Василе сжал плечо Сабурова и поднялся.

— Страх он, Вася, тоже разный бывает, как оказалось. Теперь и не знаю, что с этим знанием делать, — спокойным голосом, отстранённо, как будто не про себя, он говорил хмурому небу за окном: — Я служил в кавалерии, ходил в атаку не раз, бил германца под Гумбиненном. Это страшно. Страшно в первый раз выстрелить из револьвера в лицо человеку, который смотрит тебе в глаза, но в бою думать об этом некогда. Пока будешь сомневаться, выстрелит он. И ты делаешь всё, что в твоих силах:

бьёшь в морду, палишь, рубишь. Тоска и сожаление о чьих-то оборванных жизнях накают после, когда стихнет шум и по полю пойдут похоронные команды.

— Они же враги...

— И мы им враги, но разве мы заслуживаем смерти? На поле боя всё зависит от тебя, твоей руки и Бога. А когда ты падаешь в неуправляемом аэроплане с неба, от тебя не зависит ничего. Можно молиться, но что ему наша боль, если Он не знает, что это такое, и что ему наша смерть, если сам Он вечен? Говорят, нас больше полутора миллиардов. Какова муравьиная куча! Разве за каждым муравьишкой уследишь?

Он снова замолчал. В вагон вошёл солдат, сказал что-то громко и отрывисто. Из-за ширмы выглянула сестра.

— Господин сублейтенант. Машинисты проверяют сцепки, скоро эшелон тронется.

Штабс-капитан повернулся с видимым облегчением, это не прошло мимо внимания Замфира.

— Прощай, Вась, Бог даст, ещё встретимся.

— Ты вернёшься на фронт?

— Да. Но не в кабину аэроплана. Может, попрошу о переводе в кавалерию.

По составу прокатилась дрожь, гулко лязгнули сцепки. Анна Львовна вышла из-за ширмы и двинулась вдоль коек, проверяя, как лежат раненые и поправляя одеяла и подушки.

— Прощайтесь, господа, не то ваш друг уедет с вами в Кишинёв, сказала она, обернувшись.

Замфир нашёл руку Сабурова, мягкую и холодную, и с чувством сжал.

— Мы увидимся, Костэл, я знаю. Выздоровливай, друг.

— И ты береги себя, Вася!

У выхода в тамбур Василе обернулся. Сабуров не смотрел на него. Вытянув шею, он с тоской глядел в небо. Замфир спешно спустился в траву. Эшелон дёрнулся, со стоном повернулись колёса. Налетел свежий ветер и вычистил лёгкие от больничных миазмов. В воздухе закружились мелкие белые снежинки, они таяли, не касаясь земли. Василе задумчиво проводил взглядом удаляющийся состав, где на больничной койке, с флягой под гипсом, уезжал в глубокий тыл совсем незнакомый Сабуров — потухший и сложенный.

Что-то смутно похожее на облегчение всколыхнулось в Василе. Этот сверхчеловек, покоритель неба, оказался уязвимым. Теперь он был вялым и беспомощным, а Замфир напротив — окреп, исполнился силой и уверенностью. Это осознание было приятным и запретным удовольствием. Василе устыдился и зашептал «Конфитеор», каясь в грехе гордыни, и всё же до самого вечера он вспоминал влажную руку Сабурова, его изуродованное лицо, пучки слипшихся волос, торчащие из-под повязки. А более всего — растерянные слова про котёнка в обувной коробке.

Любовь Замфира

Ноябрь прошёл. Замфир продолжал свои физические экзерциции. В качестве гимнастического снаряда он использовал колоду, которую вряд ли бы смог поднять в день своего прибытия на платформу Казаклия. Он не раз замечал жаркий взгляд дорогой Виорицы из-за занавески девичьей спальни. В такие моменты Василе принимал позы древнегреческих атлетов с античных ваз и, уже не скрываясь, улыбался ей.

После поцелуя у насыпи их тянуло друг к другу с магнетической силой. Бодрствуя, Василе непрерывно чувствовал холодную пустоту перед своей грудью — там, где должна была быть Виорика. Тоска от того, что он не может заполнить её любимым телом, прижать к плечу милую головку, скручивала кишки в тугой клубок.

Их перестрелка взглядами не прошла мимо внимания Маковой. В один несчастливый день он заколотил гвоздями раму окна Виорики и начал запираить её комнату на ночь. Всё, что осталось разлучённым — мимолётные прикосновения в тёмной прихожей да взгляды за обеденным столом, полные счастливой муки. Глядя в разные стороны и говоря о пустяках, они находили ноги друг друга под обеденным столом или касались руками, проходя мимо. Эти редкие прикосновения били сильнее электрического тока и изводили мукой, но жить без них ни Василе, ни Виорика больше не могли.

Маковой становился всё более угрюмым. Амалия, напротив, ласково смотрела на влюблённых и сочувственно вздыхала. А как-то раз Замфир случайно услышал, как она с укоризной сказала мужу:

— Макушор, ну не будь так строг. Дети — вода, как ни замазывай, найдут, где вытечь.

Какими бы ни были разговоры четы Сырбу за дверь спальни, на людях Амалия мужу не перечила.

Как-то ночью, не вполне понимая, что они будут потом делать, Василе попытался вытащить вколоченные гвозди, но не смог поддеть ни одной шляпки. Пока он пыхтел с перочинным ножиком, Виорика в бессильной надежде смотрела на него через стекло. Вдруг глаза её расширились, она в панике замахала руками. Замфир опрометью кинулся к ретираде.

Он повторил обманный манёвр возлюбленной в ночь их первого поцелуя: перевёл дыхание и беспечной походкой вывернул из-за угла и сразу столкнулся нос к носу с хмурым Маковеем.

— Несварение, господин сублейтенант? — ехидно полюбопытствовал тот. — Никак стряпня Амалии вам не впрок пошла? Или, может, желудочный грипп подхватили?

— Благодарю за заботу, но я здоров, — с достоинством ответил Замфир.

— А раз здоровы, так, может, на фронт германца бить пойдёте? Небось, скучаете без ратных подвигов? Из Трансильвании нас выкинули, Добруджа пала, немцы уже в Валахии, к Бухаресту идут. Вдруг нашей армии именно вас не хватает для победы?

Замфир пропустил мимо ушей издевательский тон Маковея.

— К Бухаресту? — недоверчиво переспросил он.

— А вы и не знали? Если чуда не случится, скоро в королевском дворце будет новый домнитор, немецких кровей. Ах да, нынешний же тоже немец... Как я запомнил? Ну, значит, ничего и не изменится...

— Господин Сырбу! Я бы вас попросил выбирать выражения!

— Донос на меня в секретную полицию напишете?

— Не говорите чушь! Откуда вы всё это знаете?

— А вам, что ж, командование не докладывает?

Замфир призвал на помощь всю свою выдержку.

— Господин Сырбу! Я никаких сводок не получаю, а эшелоны давно уже идут без остановки. Откуда вы это знаете? Прошу вас, в Бухаресте мои родители!

— Ничего с ними не случится! Немцы что вам — звери, что ли? — сказал Маковей и добавил, смягчившись: — Йосеп выписывает «Диминеаца». Йосеп Лазареску. Даёт почитать по старой дружбе, когда за покупками прихожу.

— Благодарю, — кивнул Замфир.

Он решил более Маковея не расспрашивать, а наутро нанести визит галантерейщику и прочитать новости собственными глазами. Заодно поинтересоваться: не согласится ли он привезти ещё один флакон жидкого мыла, пусть и за тройную цену.

Василе взялся за ручку двери, когда сзади, очень близко, раздался тихий голос Маковея.

— У меня как-то, господин сублейтенант, лис повадился вокруг курятника ходить. Четыре ночи его выглядывал и всё-таки выследил. Всадил в него два заряда крупной дроби. Мог бы, конечно, поаккуратнее, но уж больно не люблю, когда кто-то к моим курочкам лезет. Собрал ошмётки и прикопал в лесу.

— К чему это вы? — Замфир попытался говорить спокойно, но, несмотря на холодную ночь, его бросило в жар.

— Да к тому, что кажется мне, опять лис поблизости завёлся и настёрный такой. Очень этот лис рискует стать дезертиром, пропавшим без вести в непростое для страны время.

Замфир, горя, как в лихорадке, молча вошёл в дом и заперся в своей комнате. Он долго лежал без сна и слушал ходики. Секундная стрелка цокала, как копыта по мостовой — медленно и размеренно, будто старая кляча тащит катафалк. Зашуршала на сквозняке занавеска или это трётся о лошадиную спину обшитая кистями попона? Страх, сдавивший горло Василе, не отпускал. Перед глазами улыбался Сырбу с дымящейся винтовкой в руках.

«Ну вот, сейчас приснится, что я лис, а он стреляет в меня дробью!» — с досадой подумал Замфир и поспешно открыл глаза. Вместо белёного потолка он увидел брусчатку и две тощие лошадиные ноги. От удивления Василе всхрипнул, дёрнул головой. Немелодично звякнули бубенцы, и сталь врезалась в углы губ. Он осторожно повернул голову назад, увидел жалкие домики провинциального городка, но разглядеть возницу мешали шторы. Легко хлопнули по спине вожжи, и непривычно ласковый голос Маковея сказал:

— Бьянкуца, птичка, потерпи, чуток осталось.

Василе покорно опустил голову и шагнул вперёд. Ноги в серой шерсти с розоватыми подпалинами с трудом удерживали грузное тело. Они дрожали, копыта норовили съехать с влажного камня. Замфир неуклюже переставил одну ногу, только потом оторвал от мостовой вторую и задумался, какую поднять третьей, чтобы не упасть и хоть немного продвинуться вперёд. Сзади подбадривал Маковей:

— Давай, девочка! Ещё шагок! Умница!

Наверное, под такие же слова сделала свои первые шаги Виорика. И Замфир

послушно зашагал вперёд, как ни было трудно. Воздух с паровозным свистом выходил из груди, а лёгкие были слишком большими для его слабых мышц, ему никак не получалось расправить их и наполнить кислородом. На выдохе глотку обжигало собственное раскалённое дыхание, и Замфир заходился в кашле, таком сильным, что слабели ноги. Зеленоватая слюна летела на мостовую. Он стыдился этих мокрых пятен на сером камне, но поделать ничего не мог — стальное грызло не давало свести челюсти.

Сырбу натянул поводья слева, Замфир свернул в узкий тёмный проулок. Юная барышня, тонкая и свежая, как первый весенний подснежник, отступила на шаг назад и испуганно прикрыла рот изящной ручкой в серой перчатке. Тяжёлое дыхание лошади, запах болезни, остывшего пота с траченной шкуры коснулись нежных ноздрей. Василе сторел бы от стыда за то, что осквернил зрение и обоняние этого нежного создания, но все его душевные и физические силы уходили на ещё один вдох и ещё один шаг.

— Стой, Бьянкуца! Приехали, — сказал Маковой. Он ослабил подпруту и распустил узел на хомуте. — Сейчас станет легче, девочка моя... — Маковой выпряг Замфира и похлопал его по щеке. Глаза сурового стрелочника предательски блеснули.

Василе очень хотелось лечь, но он чувствовал, что встать уже не сможет. Он покорно пошёл за Маковеем, ставя пошире трясущиеся ноги. В лёгких кипел раскалённый свинец, и воздух в них почти не проникал, а то, что удавалось вдохнуть, сгорало в адском пламени. Мучения достигли той степени, когда смерть не страшит, а становится желанным избавлением от страданий.

Сквозь завесу усталых слёз Василе увидел катафалк, а на нём тело юноши — крепкого, полнокровного. Тот спал, приоткрыв полные губы, и его крепкая грудь поднималась и опускалась в такт дыханию. Василе не сразу понял, что это лицо он каждый день видел по утрам в зеркале. В испуге он отпрянул, тяжёлый круп потянуло к земле, обескровленные задние ноги затряслись под его весом.

— Ну тихо, тихо, девочка, — зашептал ему в ухо Сырбу. — Сейчас тебе станет легче, — он вытащил из катафалка двуручный насос со стеклянной колбой, размотал две резиновые трубки с иглами на концах. Одну ловко воткнул в вену спящего юноши, со второй подошёл к Замфиру. Тот отшатнулся, и Маковой с притворной суровостью топнул ногой: — Стой смирно, Бьянку! Это не больно, как комарик укусит.

Одной рукой он обхватил Замфира за шею, а другой вонзил иглу ему в ногу. Пока Маковой качал, стеклянная колба наполнялась кровью, только кровь была необычной — густая, перламутровая, похожая на жидкое мыло, — и чем выше был её уровень, тем бледнее становилась кожа спящего. Его губы посинели, дыхание стало неглубоким и прерывистым.

Замфир потянулся зубами к игле, но в этот момент Маковой открыл вентиль. Белая кровь потекла по резиновой трубке в лошадиную вену. Она гасила огонь, унимала боль, наполняла силой мышцы. Избавление было стремительным и чудесным. Свежий воздух хлынул в ноздри, тело наполнилось невесомым газом. Кровь юноши текла в лошадиных венах — лечебная, молодящая, она наполняла энергией каждую клеточку. Замфир, обрадованный магическим исцелением, запрокинул морду и весело заржал, а когда опустил глаза, увидел себя в телеге. Только что он был красивым и молодым, а теперь стремительно усыхал.

Белые кальсоны провисли на острых тазовых костях, желтоватые рёбра прорвали истончившуюся кожу и торчали, как у доисторических чудовищ в музее. Смерть стёрла и возраст, и облик, спрятала их в провалившихся глазницах и обвисшей коже. Дряхлый старик или юноша, ещё недавно полный жизненных сил, — сейчас никто не мог бы сказать, чьи останки лежат в катафалке.

Замфир стоял смирно. В него-лошадь — перетекала жизнь его-человека. В глазах стояли слёзы облегчения от невыносимой боли, глотку сдавливало горе по собственной смерти. Но, чем меньше крови оставалось в колбе, тем слабее чувствовал он свою связь с человеческой ипостасью.

Маковой качнул ещё несколько раз, и колба окончательно опустела. Он выдернул иглы, свернул трубки. На останки Замфира брезгливо накиннул пустой мешок.

— Плачешь, Бьянку? — Сырбу обнял лошадь за шею. — Не плачь. Пустой человечиска был, бесполодный. Жил — не был, и кончился — никто не хватится. Не о ком горевать. Пойдём, девочка, пора.

Маковой впряг Замфира в телегу, подвесил на морду торбу с овсом. Хлестнули по спине поводья, и Василе, чавкая, бодро порысил по улице, счастливый обретенной силой и ловкостью. Мощная грудь раздувалась от свежего воздуха, бесстыдно сыпались лошадиные яблоки на булыжную мостовую, хрустел овёс на крепких жёлтых зубах — коротка лошадиная память, и в том её ценность. Катафалк подпрыгивал на брусчатке, и в такт ему подпрыгивало то, что осталось от сублейтенанта Василе Замфира.

Преступление Замфира

Замфир проснулся в смятении. Он помнил, как затухала боль в пылающих лёгких, а вместе с ней гасла его человечность. Мир уплощался до простых радостей.

В то же время он помнил себя лежащим в катафалке, помнил, как с каждым качком насоса из него уходила жизнь. Сначала онемели губы, потом кончики пальцев, распухший язык задурманил голову коричневым привкусом, на лбу выступила испарина. Осенний воздух нагрелся, как летом. Кожа стала неприятно сухой и шершавой, и он разжал пальцы, чтобы не чувствовать эту сухость. Силы уходили, он слабел, накатила апатия и безнадежность. Замфир безучастно смотрел, как опадает живот, как сквозь стремительно желтеющую кожу проступают рёбра, и ничего не мог поделать. Замфир стал созерцателем. Так, кажется, говорил художник с волчьим именем?

И вот он, лошадь Бьянка, весело лязгает подковами по булыжникам, и он же, бывший сублейтенант Василе Замфир, а теперь труп, трясётся в обитой чёрным сукном телеге. Холодный осенний свет, проникающий сквозь мешковину, слепит глаза, но закрыть их мертвец не может. Временами темнеет, когда облако наплывает на солнце, или гаснет вовсе, и тогда цоканье копыт с эхом отражается от древней кладки. Куда его везут, он не знает, но ему и неважно. Всё неважно, когда ты умер.

В этой двойственности: живого, но животного и человеческого, но мёртвого, крылся какой-то смысл, но какой — Замфир никак не мог уловить. Он мельком заглянул на кухню, сухо кивнул Амалии и рассеянно улыбнулся Виорике. Маковей не было. Василе отправился делать ежеутренние упражнения и умываться, но только бросил взгляд на рукомойник — и обомлел. Его флакона, уже на две трети пустого, не было.

Ночной кошмар ворвался в его жизнь, рот наполнился слюной с привкусом корицы, онемели изнутри щёки. Замфир деревянным шагом, на негнущихся ногах, вошёл в свою комнату и вытащил револьвер.

Все сны в этом доме складывались в странную мозаику с множеством лишних элементов. Что она изображала, Василе не улавливал, он видел в цыганской пестроте только одно чёткое и ясное место: жизнь его напрямую зависит от уровня жидкого мыла в бутылке. Той бутылке, которая пропала.

Решительно отмахивая револьвером шаги, он подошёл к конюшне — впервые за всё время, что жил в этом доме. У приоткрытых ворот его решимость ослабла. Он остановился и осторожно заглянул внутрь.

Большой сарай на четыре стойла был почти пуст. Посредине, на дощатом полу, усыпанном редкими пучками соломы, стояло странное существо, похожее на лошадь. Серая в яблоках, с розовыми окаймлёнными бабками, неизменно худая, с раздувшейся грудью. Её голова, тяжело провисшая в холке, казалась черепом, обтянутым шкурой. Замфир видел каждую костную шишку, выпирающую сквозь кожу. Лошадь судорожно втягивала в себя воздух, но, не в силах расправить лёгкие, захлёбывалась надсадным кашлем.

Из темноты вышел Маковей с ушатом и ногой подопнул низкую скамью ближе к лошадиному боку. Плеснул, и по боку деревянной бадьи поползла ослепительно-белая пена. Замфир стиснул рукоять так, будто хотел выжать из неё сок. Не замечая наблюдателя, Маковей натянул овечью варежку и зачерпнул воды в бадье. Он что-то ласково бормотал под нос и тёр шкуру, прямо по уродливо торчащим рёбрам. Она темнела, сверкала таинственно снежная пена, лопались с тихим треском пузыри.

Замфир, не в силах более сдерживаться, шагнул внутрь. Его длинная тень легла на затылок Сырбу. Тот почуял: плечи напряглись, движения замедлились. Продолжая натирать лошадиный бок, Маковей осторожно посмотрел через плечо.

— Шувано? — выкрикнул Василе. Страх и ярость терзали его одновременно, и голос сорвался на фальцет.

Маковей убрал руку от лошадиной шкуры. Вода с хлопьями пены стекала с перчатки на пол. Капли стучали о доски пола, и для Замфира этот звук был равноценен стуку молотков о крышку гроба.

— Что ты несёшь?! — спокойно спросил Маковей.

Кляча за ним зашла в кашле. Пена сползала по острым рёбрам и хлопьями падала на мокрые доски. Маковей не выказывал никакого волнения. Он стоял, терпеливо поднимая руки, и это окончательно вывело Замфира из себя.

— Ты — шувано! Я всё знаю!

Василе взвёл курок. Лязгнул металл о металл. Маковей вздрогнул и сказал с издёвкой:

— Не бойся, Бьянку, господин офицер головкой перегрелся. Солнышко в декабре коварное...

— Не морочьте мне голову, фронташ Сырбу! Бросьте варежку и отойдите от

корыта! Немедленно!

— Да с чего бы? — в голосе Маковей не было ни капли страха, будто не был в его спину нацелен заряженный револьвер, зато ехидства в нём было, хоть черпаком выплёскивай. — Не забыл ли господин столичный хлыщ, в чьём доме он квартировать изволит?

Замфир попытался выдохнуть, но лёгкие окаменели. Он всегда старался жить аккуратно, не совершать необратимых поступков и оставлять дверь позади открытой, но суеверный страх коварно толкнул его в спину. Теперь Василе перешагнул тот порог, за который вернуться не получится. Что бы дальше ни произошло, жизнь его прежней не станет.

В голове мелькнула глупая мысль, что цыган может быть заговорённым и обычная пуля не причинит ему вреда. Пистолет задрожал. Замфир не сразу сообразил, что ствол ушёл в сторону и целит в голову лошади. Кляча с трудом повернула морду в его сторону. Мутными от страдания глазами она смотрела на Василе. Прогреми сейчас выстрел, и благодарная Бьянка серым в розоватых яблоках ангелом унесётся в свой лошадиный рай. Замфир подпёр рукоять второй рукой и прицелился в спину Маковей. Подумав, поднял выше, взял на мушку кудрявый затылок.

— Отойди... от моего мыла... — раздельно сказал он.

Василе было страшно. Раньше револьвер на боку успокаивал. Пусть стрелял он только в тире, но каждая из шести свинцовых пуль в барабане способна остановить любого здоровяка, и это осознание вселяло уверенность в себе. Сейчас Замфир впервые в жизни направил револьвер в голову живого человека. Палец лежал на курке, и стоило ему пальцем продавить упругую пружину, как одна из пуль поставит точку в жизни Маковей Сырбу — проклятого цыганского колдуна, мужа госпожи Амалии, отца Виорика...

Замфир сделал то, что делать никогда и ни в коем случае нельзя, но в его жизни не было человека, который мог об этом предупредить. Он сначала достал оружие, потом начал думать о последствиях. Его богатая фантазия уже расписывала картины похорон, рыдающих женщин, высокомерно-презрительных офицеров военной полиции, трибунала... Палец на спусковом крючке задрожал, ладонь вспотела, и потяжелевший револьвер чуть не выскользнул из рук. Василе встал пошире и до боли сжал рукоять.

— Отойди... от моего... мыла... цыган! — повторил он.

— Убери пистолет, болван, ты всё равно не выстрелишь! Раньше от страха сдохнешь, — расслабленно и ехидно ответил Маковей.

Отсутствие страха в голосе стрелочника пугало больше всего. Тот как бы невзначай переступил, но так, что правая нога его оказалась за скамьёй с ушатом. Это движение заметил Замфир.

— Ещё одно движение, и я стреляю! — завопил он и в тот же миг вспомнил, что в доме рядом находятся две женщины. Василе испуганно глянул через плечо. Дверь с треском распахнулась, на крыльцо выскочила Амалия с лопатой в руках. В два прыжка она слетела по ступенькам и кинулась к конюшне. Маковей не мог её видеть, но вся эта ситуация его порядком разозлила. Презрение, которое он испытывал к сублейтенанту, распалило злость.

— Да катись ты к чёрту! — зарычал Маковей и пнул ушат.

Замфир отвлёкся на Сырбу, увидел, как из падающей бадьи льётся вода и сразу уходит сквозь щели в дощатом полу, как опадают хлопья пены, бесценной, как его жизнь. Все мысли улетели из головы, ушли в сырую землю под конюшней вслед за мыльной водой. Горло отпустило, воздух вырвался из лёгких криком отчаяния. Палец сам нажал на курок, и раздался выстрел. Левая нога Маковей шаркнула по полу в неуклюжем реверансе, он вскрикнул и сразу умолк. С тревогой и надеждой он смотрел через плечо сублейтенанта. Замфир уже выбирал свободный ход курка для второго выстрела, но что-то твёрдое, пахнущее червивой землёй, врезалось ему в затылок. Замфир удивлённо хрюкнул, дощатый пол вздыбился и врезался ему в лицо.

— Господи, только не снова!.. — всхлипнула Амалия.

За открытыми воротами, стоя на отвесной стене зелёной травы, рыдала Виорика. Кудлатый пёс весело проскакал за её спиной куда-то вверх. В голове осколки черепа покачивались в растаявшем мозгу, как ледяное крошево в чаше для пунша. Больше Замфир не чувствовал ничего. Где-то за спиной стонал и ругался Маковей, трещала разрываемая ткань.

— Что ты ему сказал? — рыдающим шёпотом спросила Амалия у мужа. — Почему он в тебя стрелял? Скажи правду! Это тайная полиция?

— Не мели чушь! — огрызнулся Маковей. — Я не знаю, что на него нашло! — он со свистом втянул воздух и выругался, теперь по-русски. — Совсем у парня крыша поехала. Знаешь, как он меня назвал? — он застонал, потянул воздух сквозь зубы.

— Потерпи, Макушор, сейчас будет больно.

Маковей заскулил жалобно, по-собачьи. Любопытная песья морда сунулась в проём и исчезла, а Виорика так и стояла, прижав руку ко рту. Она, не отрываясь, смотрела в глаза Замфира, крупные слёзы катились по щекам, но переступить порог конюшни девушка никак не решалась. А Василе лежал, не чувствуя тела. Глаза бессмысленно пялились на безутешную любимую. Совсем недавно его сердце разорвалось бы от слёз, а сейчас он не чувствовал ничего. Ни горя, ни тела, ни боли. Нет, боль всё же была, но холодная и острая, и только в голове. Маковей за спиной притих, потом закричал.

— Дай лопату! — сказал он.

— Маковей, опять, да? Опять бежать? Куда теперь — в Грецию? Боже мой, только к спокойной жизни привыкли... — запричитала Амалия.

В пол стукнуло железо.

— Переверни его!

Закачался пол под грузными шагами, перед глазами Василе качнулась потрёпанная юбка.

— Может, он жив? — сказала она с надеждой. Амалия склонилась так низко, как смогла, попыталась заглянуть в глаза Замфира, но охнула и схватилась за поясницу.

— Да лучше б сдох! — бросил Маковей. — Военной полиции нам не хватало! А ты чего стоишь там, сопли глотаешь? Помоги матери! Откормили кабанчика жирной юшкой на свою голову!

Пол уплыл за спину, крошево в голове Замфира качнулось, и тысячи ледяных игл пронзили мозг до позвоночника. Последнее, о чём подумал Василе, глядя, в меркнувший деревянный потолок: «Ошибся, Люба!»

Наследство Замфира

Утром мимо платформы Казакия пронёсся без остановки эшелон с разбитой техникой. На привычном пригорке стояла Амалия Сырбу и пересчитывала вагоны. Она аккуратно вписала в соответствующие графы нужные цифры и отнесла планшет Замфира мужу. В спальне страдала от горя Виорика. Она лежала в кровати, уткнувшись носом в мокрую подушку. Плакала, пока хватало сил, когда выдыхалась — засыпала, чтобы, проснувшись, вновь зарыдать. Дверь её комнаты отец предусмотрительно запер на ключ.

Около обеда в калитку вошёл непривычно взволнованный Лазареску. Из-за пазухи у него торчала свёрнутая газета. Со скорбным лицом профессионального плакальщика он просеменил к дому. На крыльцо, хромя, вышел Маковей. Он упёр подмышку перекладину швабры и уставился на приближающегося галантерейщика.

— Маковей! Прекрасный денёк! — сказал Лазареску. Он покосился на перекошенную позу Сырбу. — Что с тобой, друг Маку? Спину прихватило?

— Пустяк, Йосеп. Бьянка, зараза, в ногу лягнула. С чем пожаловал?

Лазареску вернул на лицо скорбное выражение и смущённо разгладил кайзеровские усы.

— Ужасные новости, Маку, ужасные. Могу я увидеть господина военного?

— Вот уж не думал, что ты с ним дружбу водишь.

— Маковей, друг, не до шуток мне сейчас. Неужели ты ничего не знаешь? Бухарест пал, в городе хозяйничают немцы. Правительство бежало в Яссы. Король и вовсе где-то за границей. Не думал, что до такого ужаса доживу.

— Я б удивился, будь иначе, — усмехнулся тот. — Не вешай нос, Йосеп, Валахия — не вся Румыния, а со столичных жуликов давно пора спесь сбить. Господин Замфир отсутствует. Отбыл по служебной надобности.

— Да? — удивился Лазареску. — А когда отбыл?

— Да вот вчера и отбыл, — Лазареску открыл рот, и Маковей твёрдо добавил: — И когда вернётся, не знаю. Война, сам понимаешь. Может, на фронт поедет и больше тут не появится. Туда ему и дорога. Здоровый лоб в тылу сидит, пока другие воюют. Если ему надо что-то передать — говори. Если не вернётся в ближайшее время, в штаб по телеграфу сообщу. Газета свежая? — качнул он подбородком.

— Да, сегодняшняя, только из Чадыр-Лунги. Собственно, я из-за неё и пришёл. Такая трагедия! Хочешь почитать? — Маковей кивнул, но дверь в дом держал закрытой и приглашать друга внутрь не торопился. — Зябко сегодня, — передёрнул плечами Лазареску. Он начинал злиться на недогадливость Маковей, но тот и ухом не вёл.

— Амалия клопов травит, — неохотно пояснил он. — Вонь в доме стоит... Сам бы сбежал куда-нибудь, если б не нога.

— Эх, жаль, — галантерейщик ссутулился, даже усы обвисли. — Ну что ж, придётся домой идти...

— Подожди, Йосеп! Не могу я тебя с пустыми руками отпустить.

Маковой проковылял в дом и вернулся с бутылкой и свёртком в жирных пятнах.

— Держи, друг! Дома согреешься. Плачинты свежие, Амалия утром нажарила.

— Спасибо, Маку, — Лазареску прижал к груди ценный груз. Ракию Сырбу, настоящую на ореховых перепонках, он ставил повыше иных благородных напитков.

— Газету-то оставишь почитать?

Не дожидаясь ответа, Маковой нагнулся и выхватил газету у него из-за пазухи. Помешать Лазареску всё равно бы не смог — руки заняты.

— Там на второй полосе... — сказал он с сожалением. — Я хотел сам сказать господину военному. Ты, Маку, прекрасный человек, но нет в тебе такта. Рубанёшь в лоб обухом, а юношу подготовить надо...

— Какие все изнеженные стали... — Маковой развернул газету и уставился в заметку на второй полосе. — Вот это история... — удивлённо пробормотал он.

На большом зернистом снимке, в канаве, на боку лежал открытый автомобиль, кругом валялись вещи, распахнутые чемоданы, открытый дамский зонтик в пятнах грязи. На переднем плане высокомерно смотрел в камеру германский полевой жандарм с чеканной бляхой на цепи. Броский заголовок гласил: «Банда румынских дезертиров расстреляла машину профессора экономики Ионела Замфира». Ниже, в многословном воззвании генерал Макензен призывал жителей Бухареста сохранять спокойствие и не покидать город, пока доблестная германская жандармерия восстанавливает порядок и очищает окрестности от мародёров. На снимке он был застёгнут и гладко расчёсан, без привычной папахи чёрного гусара. Всем своим видом он олицетворял тот безупречный германский порядок, который скоро наведёт в безалаберном Бухаресте.

Лазареску чувствовал разочарование. Не то чтобы он любил приносить дурные вести... Просто, чем старше становился Иосиф, тем реже ему давалось ощутить собственную значимость. Этого приятного чувства его ежедневно лишала супруга, а что оставалось — дотапывали покупатели да жадный и надменный сельский жандарм. Лазареску уже предвкушал, как со скорбным и торжественным видом расскажет юному офицеру о страшной трагедии, случившейся с его родителями. Потом друг Маку достанет заветную бутылку, и под умопомрачительно вкусную стряпню Амалии — супруга его была дамой выдающихся достоинств, но кулинария в их список не входила — они станут утешать бедного Замфира. Вспомнят свои потери, которые перенесли с достоинством и стойкостью. Ракия расцветит их воспоминания и притушит Замфирово горе. Ничто не поднимает собственную значимость лучше, чем растерянный взгляд молодого друга, ищущего опоры в твоей мудрости. Ничто! И именно в этот день Амалия решила потравить клопов. Как жаль!

Лазареску, расстроенный этим прискорбным совпадением больше, чем падением румынской столицы, побрёл к калитке. В декабрьском холоде Гагаузии лишь один источник тепла не давал впасть в уныние от разрушенных планов — бутылка с чудесной Маковеевой настойкой за пазухой, в том кармане, где лежала газета. Слегка повеселев, он прикинул, к кому из знакомых с ней завернуть, а потом мадам Лазареску пусть хоть разорвёт от злости. В этот горестный день каждый румынский патриот имеет право выпить!

Маковой же вернулся в дом и сел за стол напротив жены. Сухими красными глазами она смотрела в одну точку.

— Малица, — позвал он. Амалия медленно перевела взгляд на мужа. Маковой выложил на стол газету и пододвинул к ней. — Представь, сублейтенантик наш сказочно разбогател. Когда немцы взяли Бухарест...

— Немцы в Бухаресте? — ахнула Амалия.

— Чего ты перепугалась? Не русские же. У кайзера к нам счетов нет. Слушай и не перебивай! Так вот, когда немцы вошли, его папаша с мамашей попытались драпануть из города. На выезде их подловила банда дезертиров и уложила насмерть. Так что теперь всё их имущество перешло к Замфиру. А судя по тому, что сказано в газете, имущество немалое.

— Да какая уже разница?! — закричала Амалия так громко, что на дворе забрежал пёс. Маковой поморщился.

— Не скажи, не скажи, — он постучал пальцами по столешнице. — Ты вот что, сходи проводи санитарный эшелон с фронта, а я подумаю.

Амалия взяла планшет Замфира и вышла, качая головой. Маковой продолжал задумчиво барабанить по столу. Взгляд его то упирался в газету, то надолго застывал на запёртой двери в спальню дочери. Потом он шумно выдохнул и пожал плечами, завершая внутренний спор. Порывшись в буфете, нашёл небольшой флакон с остатками какой-то специи, опростал его в раковину и тщательно, с мылом вымыл. Вытащил из ящика стеклянную воронку. Опираясь на обпиленную швабру вместо

костиля, он поковылял к конюшне.

Когда Амалия с заполненным бланком вернулась в дом, дверь в комнату Замфира была открыта. Маковой неподвижно сидел в темноте у кровати сублейтенанта. Увидев жену, он раздражённо махнул рукой, и она ушла на кухню, плотно закрыв дверь. Молодой офицер был ей симпатичен. Что задумал муж, она не знала, но боялась, что ничего хорошего юношу не ждёт. Время шло, тикали ходики, в доме стояла мёртвая тишина, даже из спальни Виорика не доносилось ни всхлипа.

Свою дочь в мечтах Амалия уже повенчала с Замфиром. Она видела, как молодых тянет друг к другу. Излишнюю суровость Маковой она воспринимала практично: чем больше препятствий между влюблёнными, тем сильнее горят их чувства. Фантазии о богатой столичной жизни дочери, её счастливой семье, о внуках стали приятной тайной частью её жизни. Амалия была скромна и умна, сама она в этих фантазиях находилась робко с краешку, грелась счастьем дочери, не надеясь, что сваты примут её как равную. Что будет с мечтами после того, как она стукнула лопатой Замфира?

От удара на затылке сублейтенанта лопнула кожа, натекла лужа крови. Амалия подумала, что убила юношу на глазах у дочери, слишком крепкими и сильными были её руки. Больше всего Амалия боялась, что Виорика её возненавидит, это страшило её больше, чем повешение по законам военного времени за нападение на офицера. Но Маковой пощупал его шею и буркнул:

— Живой.

Бежать за врачом он запретил строго-настрого. Виорику Маковой сразу запер в её спальне. Потом он обильно поливал голову беспамятного Замфира своей ракией, а Амалия сквозь слёзы калёной иглой стягивала края раны. Вдвоём они перетащили сублейтенанта в дом, и Маковой крепко привязал ему руки и ноги к кровати.

— Макушор! — Амалия заискивающе заглянула в глаза мужа. — Ты ведь не сделаешь с господином офицером ничего дурного?

— Дурнее, чем сделала ты? — огрызнулся тот. — Этот чокнутый прострелил мне ногу. Не хочу, чтобы он довершил начатое, как проснётся, — Замфир не подавал никаких признаков жизни, и они ушли. За дверью своей спальни рыдала Виорика, Амалия умоляюще посмотрела на мужа, но он сурово покачал головой: — Потом! Пусть плачет, ресницы гуще будут.

Амалия прислушалась. В комнате Замфира было тихо, даже стул не трещал под грузным телом Маковой. Она верила мужу, но лишь одной ипостаси его двойственной натуры — той, где Макушор окружил их с дочерью заботой, как надёжной крепостной стеной. Во второй его звали Маку Сечераторул. Амалия старалась не думать, за что кишинёвские дружки прозвали его Жнецом. Сама она только раз видела Маку. Человеческая жизнь для её мужа стоила в тот день не дороже пшеничного колоска.

Амалия не выдержала. Она достала муку, сито и завела тесто для плачнт. Нарочито громко она гремела кастрюлями и с остервенением била сильными руками по тесту, чтобы не слышать напряжённую тишину и не думать: Макушор там сидит у беспомощного Замфира или безумный жнец. От отчаяния она так шмякнула тесто о доску, что та подпрыгнула и с грохотом упала на стол.

Маковой поморщился от громкого звука. Ему показалось, что Замфир шевельнулся. Губы молодого человека приоткрылись, дыхание стало глубже. Маку легко сжал его плечо.

— Доброго утречка, господин сублейтенант! Хорошо ли вам спалось? — осведомился он с иезуитской заботой. Замфир дёрнулся, попробовал сесть, но со стоном откинулся на подушку. Он зажмурился и тяжело и жарко задышал, борясь с тошнотой.

— Что?.. Что со мной? — чуть слышно спросил он.

— Сотрясение мозга, если есть, чему трястись, — ухмыльнулся Сырбу. — Вас, господин сублейтенант, Амалия по затылку лопатой погладила. Легонько, а то мы б сейчас не разговаривали.

— За что?

— Запamятовали? Беда-то какая... Ну ничего, я напamню. Ты меня убить пытался, придурок! Хорошо, жена вовремя подоспела, но ногу ты мне успел прострелить. Устав хорошо знаешь? — Замфир осторожно кивнул. — Я, мой юный друг, не фрунташ в отставке, как ты кричал мне в конюшне. В военное время железная дорога — это стратегический объект, а я обеспечиваю её работу. Какая уж тут отставка? Смекаешь, кого ты пытался вывести из строя? — Маковой сочувственно покачал головой. — Плохо дело, Замфир, очень плохо! — без обычного обращения «господин» фамилия звучала, как на допросе. Василе не нужно было заглядывать в устав, он отлично знал, как важны железнодорожные перевозки. Теперь это было не противостояние солдата в запасе и действующего унтер-офицера. Жалкий помощник младшего интенданта, устроенный на бесполезную и безопасную тыловую должность, пытался застрелить

из личного оружия королевского служащего, пропускающего армейские эшелоны на фронт. — И в такой момент... — сурово продолжал Сырбу. — Страна истекает кровью, немцы взяли Бухарест. Попахивает диверсией...

— Немцы в Бухаресте? — Замфир дёрнул рукой и только сейчас понял, что надёжно примотан за запястья и лодыжки к раме кровати. — Почему я связан?

— Чтобы глупостей не наделал. Вдруг ты решишь ночью меня добить? А вместе со мной и всю семью?

— Я не сумасшедший! — без особой уверенности сказал Замфир. Понемногу память прояснялась, но обрывками. Он вспомнил умывальник с пустой полкой, белую пену на боку лошади. — Моё мыло...

Маковой склонился над ним и, твёрдо глядя в глаза, прошептал:

— Ты рано догадался, но теперь всё равно. Вся твоя жалкая жизнь — в руках какого-то вонючего шувано. Обидно, да? Не надо было приезжать в Казаклию, ой, не надо, да теперь что уж... — он откинулся на спинку стула.

— Ты украл моё мыло, — от обиды на глаза навернулись слёзы.

— Нет. Представь, цыган, а не вор. Твоё мыло стоит в тумбе под раковиной. Ночью был сильный ветер. Амалия знает, как ты над ним трясёшься. Убрала, чтоб флакон не сдуло.

— Ты мыл им лошадь.

— Я мою лошадь тёртым марсельским мылом.

— Я не верю.

— Могу принести показать твой флакон. Я не собирался сокращать твою жизнь. Мне нравилось смотреть, как ты сам её растрачиваешь. Как ты мылишь ей шею и смываешь в землю. Скоро сам вслед за ней уйдёшь. Ох, как я веселился! Жаль, забава была недолгой. Быстро ты смылился, — шутка показалась Сырбу очень смешной, он хлопнул ладонями по коленям и весело рассмеялся. В коридоре за открытым проёмом ступилась темнота. Он услышал сдерживаемое дыхание — Амалия подслушивала, но его это устраивало. Он продолжил серьёзно: — Утром из Ясс приедет дознаватель. Не надо быть шувано, чтобы догадаться о твоей дальнейшей судьбе. Предатель, подкупленный австрийской разведкой, пытался помешать прохождению эшелонов через платформу Казаклия. Тайная полиция любит такие дела. Будет шумиха, громкий процесс, чтоб другим неповадно. Бесчестье. Хотя, для тебя это, наверное, меньшее из зол. Позорное повешение. В день казни я вылью в землю остатки твоего мыла. Символично...

— Это ложь.

— Ложь легко сделать правдой. Жена и дочь подтвердят мои слова.

— Нет, Виорика не станет.

— Не тешь себя пустыми надеждами, Замфир. Хотя можешь тешить, это ничего не изменит. Какой сложный выбор, если вдуматься... С одной стороны отец, который тебя родил, вырастил, выкормил и может защитить от любой опасности. С другой — столичный хлыщ. Смазливый, но трусливый, слабый, ещё и высокомерный, которому ты не ровня, на его взгляд, — Сырбу покачал ладонями, как чашами невидимых весов. — Кого же выбрать?

Замфир утробно булькнул, щёки его надулись, он с ужасом посмотрел на Макову. Тот выгасил из-под кровати загодя приготовленный тазик. Придерживая за плечи, он помог Василе склониться над ним, насколько позволяли пути. Замфира вырвало. Он долго кашлял над тазом, выплёвывая кислоту, потом, обессиленный, упал на спину. Его тошнило, мысли путались. В стужающихся сумерках перед ним сидел Маковой — грузный, крижистый, с копной взъерошенных вьющихся волос — шувано, цыганский колдун, который походя, из чистого презрения, уничтожил его жизнь. Замфир потянул вверх руки, но тряпки, связывающие запястья, даже не затрещали.

— Я хорошо тебя связал, не выберешься, — угрюмо сказал Маковой. Амалия не выдержала. Она вошла в комнату и опустилась на колени перед мужем.

— Макушор, прошу тебя, не губи господина офицера. Ты всегда защищал нас, защити и сейчас. Виорика любит его, она не вынесет. Макушор, умоляю!

Амалия не знала, что говорить, нужные слова куда-то делись, она уронила голову к нему на колени и зарыдала. Маковой гладил её по волосам и бормотал:

— Ну перестань, так нечестно. Что я скажу дознавателю завтра?

— А кто его вызвал?

— Лазареску. Он услышал выстрел и сразу кинулся в Чадыр-Лунгу, оттуда телеграфировал в Яссы, потом пришёл ко мне.

Спокойный тон мужа вселил надежду. Амалия подняла голову и вцепилась в его руку.

— Макушор, придумай что-нибудь!

— Зачем мне это?

- Ради дочери!
- Найдёт кого-нибудь получше.

– Макушор, наши родители были против, разве это остановило нас? Я сказала тебе «да» и не жалела об этом ни одного дня.

- С тайной полицией опасно шутить, дорогая.

Замфир лежал, затаив дыхание. Он боялся пошевелиться, привлечь к себе внимание. Амалия стала единственным его шансом сохранить жизнь и честь. Будь он здоров, Василе подумал бы о странностях этой истории: например, почему Лазареску, услышав выстрел, кинулся в соседний город и сразу вызвал полицию. У Василе сильно болела голова. Комната вокруг казалась полостью заклинившей турбины, которая вот-вот раскрошит попавший в неё камушек и вновь завертится в бешеном темпе. Низкий, густой голос Маковей действовал гипнотически. Под шум в ушах он качал Замфира, как на качелях: то вверх, то вниз, где пустота под рёбрами холодила сердце. Здраво думать он не мог.

Из-за окна раздался шум. В конюшне заржала лошадь, зашлась надсадным кашлем, стукнули копыта в стенку. Маковей вскочил, тяжело поднялась с пола Амалия.

– Бьянка! – тревожно сказала она. Они вбежали в конюшню. Лошадь лежала на боку, ноги дёргались в предсмертных судорогах. Хлопья кровавой пены вылетали из открытого рта. – Сделай что-нибудь! – закричала Амалия.

- Поздно, – мрачно сказал Маковей. – Отмучилась.

Бьянка последний раз вздрогнула и обмякла, вытянулись ноги, провис живот. Глаза безжизненно блеснули в свете тусклой лампы. Маковей обхватил Амалию за плечи и прижал к себе. Он гладил её по голове и обдумывал, что делать дальше. Бьянке недолго оставалось, он это понимал, но не думал, что она околеет в эту ночь. Он горевал по ней, лошадь была дорога ему, уж подороже какого-то Замфира, но её смерть чудесным образом вписалась в его план.

– Значит, хочешь спасти своего сублейтенантика? – шепнул он ей в ухо. – Тогда носи его револьвер и старую подушку.

Когда Амалия вернулась, Маковей, закусив губу, опустился перед лошадью на здоровое колено. Он нащупал пальцами височную кость. Шерсть была холодной и липкой, остро запахло лошадиным потом.

– Прости, Бьянку, но ты уже не здесь, а мёртвым не больно, – виновато прошептал Маковей.

Он приложил подушку и выстрелил. В воздух взвилось несколько перьев, звук, несмотря на примитивный глушитель, казался оглушающим, но Сырбу знал, что в Казаклии его не услышат. Понимание, как далеко распространяется звук выстрела, крика, падения, не раз спасало его шею от петли. Давно это было...

– Убери перья, подушку утопи в выгребной яме. Шестом протолкни поглубже. Только камень на всякий случай в наволочку сунь, – сказал он Амалии. Она подала мужу руку, и Маковей, кряхтя, поднялся. – А я пока поговорю с господином сублейтенантом.

С револьвером в руке Сырбу вошёл в спальню Замфира и опустился на стул. Василе с опаской посмотрел на него.

- В кого вы стреляли? – спросил он.

– Жить хочешь? – Маковей вопрос проигнорировал. Офицерский «Сен-Этьен» лежал на колене, под его тяжёлой пятернёй, и в барабане оставалось по крайней мере четыре патрона. Жить Замфир хотел. Он мелко затряс головой и сразу пожалел – тысячи ледяных игл вонзились в кожу. – Амалия сказала, что Виорика и впрямь в тебя влюбилась. Любит, говорит, жить без тебя не может. Случись что с тобой – в петлю полезет. Дура, что ещё сказать?

– Я тоже её люблю, – сказал Замфир, морщась от боли. В смертной тьме, в которую погрузился Василе, появилось слабое пятнышко света.

– Любишь... – протянул Сырбу. – Никого ты не любишь, кроме себя! Нахлебается горя моя девочка, ой, нахлебается! Жаль, ей не объяснишь: голову потеряла от напмаженных усишек. Слепла и оглохла, – Замфир не успел возразить – Маковей тряхнул своим кулаком, как сорняк выдернул. – Все твои слова – ложь, потому что жизнь свою никчёмную спасти хочешь. Очень высоко ты её ценишь, выше всего. Выше Виорика, которую, говоришь, что любишь. Я девчонке голову морочить не дам. Как выпутаемся из этой беды, под венец её поведёшь, сразу же! С отцом Софронием я договарюсь.

- Но я католик! – попытался возразить Замфир.

– Станешь православным! – рыкнул Маковей. – Бог у нас один! Нет в том греха! Государи наши детьям роднятся, те веру меняют и не ропщут, и все, небось, в райских кушачах жить собираются, а не в пекле гореть!

- Виорика могла бы принять католичество...

Сырбу угрожающе наклонился вперёд, правая рука крепко стиснула револьвер на колене.

— Ты хитрец, Замфир... Сестра моя за ляха замуж выходила, полгода ждала эту, как её...

— Катехизацию, — упавшим голосом подсказал Василе.

— Юлить начинаешь, время тянешь. На что рассчитываешь? — Маковей встал и склонился над сублейтенантом. Тихо и злобно прошептал он ему в лицо: — Знаешь что? Катись ты к чёрту! Не было этого разговора, Замфир. Сдохни в петле, ничего лучше ты не заслуживаешь. А Виорика погорюет и оправится. Не помрёт. Всё лучше, чем с таким слизняком венчаться.

Маковей посмотрел с презрением и вышел в коридор.

— Нет! Всё не так! — сказал ему в спину Замфир. От резкого движения боль ударила в виски. Он взял себя в руки и закричал так громко, как смог: — Я люблю Виорику и хочу, чтобы она стала моей женой!

В то же мгновение глухой удар сотряс дверь девичьей спальни.

— Я согласна, Василе, слышишь? Ты слышишь меня? Я согласна! — кричала Виорика, смеясь и рыдая.

— Я слышу!

Между их спальнями, спиной к Замфиру, стоял Маковей и улыбался.

— Отец, выпусти меня! — Виорика дробно затарабанила в дверь.

Маковей крепко стукнул в ответ, и дочь ненадолго притихла.

— Никаких встреч до свадьбы, следить буду зорко! А на ночь — под замок. Я сказал!

Кулачок Виорики врезался в дверь, она всхлипнула от боли и сползла на пол, баюкая ушибленную руку. Плакать ей больше не хотелось. Маковей стёр улыбку с лица и вернулся к Замфиру. Сунул револьвер в тумбу, сел напротив.

— Хорошая попытка, сублейтенант, только не верю я тебе ни на грош, — сказал он шёпотом. — До свадьбы видеться будете только под присмотром. А мыло твоё я припрячу. Попробуешь сбежать — вылью. Сделаешь мою дочь счастливой, внуков нам принесёте — на годовщину свадьбы подарю. Делай с ним потом, что хочешь. Всё понял? Чего нос повесил? Веселей! Такой праздник скоро!

Замфир через силу улыбнулся. Маковей отошёл к комоду с жидкой стопкой книжек на полке. Взял заготовленную бутылку ракии и разлил по кружкам. Бросив косой взгляд на Замфира, плеснул в одну из них из маленького флакончика.

— Держи, Замфир, — он сунул кружку ему в руку. — Выпьём мировую. Не дело тестю с зятем враждовать.

Василе принюхался: от напитка ощутимо тянуло специями.

— Что это? — осторожно спросил он.

— Ракия моя, на травах: тимьян, чабрец... — Маковей сам в два глотка выхлебал свою кружку и перевернул её вверх дном. Успокоенный, Замфир выпил свою порцию до дна. — Хороша? Мой собственный рецепт, — с гордостью сказал Маковей. — Эх, открыть бы заводик, магнатом стал бы. Что, зятек, пойдёшь ко мне партнёром?

Сырбу панибратски ткнул Замфира в плечо, и он улыбнулся, уже не вымученно, а вполне искренне. Волшебный напиток жидким теплом растёкся по жилам, сведённые спазмом мышцы расслабились. Склонив набок голову, Василе глядел на повеселевшего Маковея. В его широком, грубом лице он увидел милые черты Виорики, и неожиданная симпатия вспыхнула у Василе в душе к этому человеку. Маковей тоже внимательно, не отрываясь, смотрел в его глаза.

— Завтра приедет дознаватель, я постараюсь от него откупиться. На всякий случай запомни: ты — жених моей дочери, мы к свадьбе готовимся. Вчера помирала от запала моя лошадь, Бьянка. Ты хотел избавить её от страданий и выстрелил в голову. Слева, в висок. Это ниже уха, — на всякий случай пояснил Маковей.

— Бьянка умерла? — спросил Замфир, мечтательно улыбаясь. — Маковей, а лошади попадают в рай?

— Как помрёшь, узнаешь. Только сильно не торопись, ты мне живой нужен.

— А аэропланы? Сабуров говорит, у аэропланов есть душа. Как думаешь, сбитые аэропланы в рай?

— Замфир, скажи мне, что вчера случилось?

— Бьянка отходила, мучилась сильно, ей дышать больно было. Воздух был горячий, как из печи. Ты кровь из меня ей перекачивал. Белую, как мыло. Я умер, а она ожила. Маковей, если я умер, почему я тут? Это ад?

«Быстро тебя накрыло», — недовольно пробурчал Маковей.

— Вчера умирала моя лошадь, Бьянка, — терпеливо сказал он в голос. — Ты из револьвера её добил. Выстрелил в голову ниже левого уха. Повтори.

— Ниже левого уха... — Замфир больше не улыбался, брови его скорбно поползли вверх, и он, как никогда, стал похож на карандашный рисунок в ящике стола. —

Маковей, я очень устал. Ты слишком много крови из меня выкачал, ничего не осталось.

— Какая кровь? Что ты несёшь?!

Сырбу понял, что от Замфира уже ничего не добьёшься. Оставалось надеяться, что в его памяти отложится выстрел в голову лошади, а у господина сельского жандарма не будет неотложных дел к господину сублейтенанту. Он встал и похлопал его по плечу.

— Утром лежи тихо, если жить хочешь! — предупредил он.

— Утром я умру, — грустно пробормотал Замфир. — Во мне больше нет крови, я высох. Не надо было так жадничать.

Перед завтраком Маковей выпустил Виорику.

— Приготовь завтрак и сделай своему жениху жидкую кашку на молоке.

— А где мама? — удивилась она — каждое утро девушка просыпалась под стук плошек на кухне, а сейчас в доме стояла тишина. Виорика выглянула из-за отцовского плеча. Дверь в комнату Василе была открыта, но она увидела только его босую ногу, торчащую из-под одеяла. Маковей догадался, куда она смотрит, и за руку вывел её на кухню.

— Маму я отправил в Казаклию, по делам. Давай, дочка, шевелись! У твоего безмозглого женишка в голове сотряслось что-то, чего там сроду не водилось. Ему горячее питьё нужно. Да и я голоден.

Он шлёпнул её пониже спины. Как только Виорика загремела кастрюлями, Маковей вошёл в комнату Замфира. Он спал, глаза под полуприкрытыми веками бегали. Стараясь не тревожить сон, он освободил руки и ноги сублейтенанта, но тот так и не очнулся.

За окном скрипнула калитка. Водвор вальжной походкой вошёл господин сельский жандарм. Маковей потряс Василе и, только тот открыл сонные глаза, приложил палец к губам.

— Выгляни в окно. Только осторожно! — Замфир, резко выхваченный из глубокого сна, нелепо моргал и не мог понять, что от него хочет Сырбу. — В окно посмотри, — повторил тот. — Это наш жандарм. В Яссах, видать, бардак, не до стрельбы на мелкой платформе. Отправили местного разобраться. Я его сейчас отважу, а ты сиди тихо и не высывайся, если на виселицу не торопишься. Понял?

Замфир испуганно кивнул. Он робко выглянул из-за занавески и увидел, как из дома вышел Маковей с огромной корзиной, гружённой припасами. Из-под рушника торчали три бутылочных горлышка. Опираясь на швабру, он проковылял к жандарму. С несвойственной гибкостью Маковей прогнулся в пояснице и удостоился небрежного кивка. Они о чём-то говорили, при этом жандарм хмурился и шевелил соломенными усами, а Сырбу заискивающе улыбался. Корзина так и оставалась в его руках. Потом Маковей рукой показал на вход в конюшню, и жандарм направился туда. Маковей поставил ношу на крыльцо и резво поскакал за ним. Через несколько минут они вышли. Жандарм принял, наконец, корзину. Выражение его лица изменилось, он даже улыбнулся и разгладил пальцами усы, затем благосклонно дал Сырбу пожать его руку и удалился.

Маковей вернулся к Замфиру и со вздохом опустил на стул.

— Ох, и дорого ж ты мне обходишься, зятьёк! — сказал он с укоризной. — Две тысячи леев господину жандарму отдал и полную корзину снеди... Чтoб его начальство по службе продвинуло с такими аппетитами! Запомни это, Замфир. Твою шкуру спасаю! В общем, так. Труп лошади я ему предъявил, щупать его он не стал, брезглив оказался не по должности. Так что теперь стрелял ты не чтобы тестя своего убить, меня в смысле, а бедное животное от мук избавить. Живи спокойно и к свадьбе готовься. Справим всё в ближайшие три дня.

Замфир подался вперёд и сказал тревожно:

— Маковей, надо с родителями моими связаться, чтобы они на венчание приехали.

— Родителей чтить, это я уважаю. Только как ты их вызовешь, не по штабному же телеграфу? — Маковей пожевал губами. — Телефон у твоих стариков есть? Запиши мне на бумажку. Я с Лазареску в Чадыр-Лунгу сегодня поеду, к доктору. Зайду на телеграф и позвоню им, порадую.

Замфир сомневался, что такая новость обрадует маму и папу, но всё же начертил на листке блокнота домашний номер.

— А может, лучше я с Лазареску съезжу? Сам всё объясню.

— Куда тебе с таким сотрясением мозга по нашим колдобинам скакать? Дома сиди. И вообще-то, господин сублейтенант Замфир, от служебных обязанностей вас никто не освобождал. Вчера Амалия за вас учёт вела, а я в штаб отчёт телеграфировал. Будьте добры хоть сегодня своими служебными обязанностями не пренебрегать! — игривый тон Маковей немного успокоил Замфира, он убеждал, что опасность миновала. — Сейчас Виорика тебя покормит, и отдыхай, — добавил будущий тесть. — В полдень будет эшелон в Добруджу, следующий вечером, около восьми. И смотри у меня! —

Маковой сунул под нос Замфиру мозолистый кулак. — Будешь ручонки распускать, обратно к кровати привяжу, до самой свадьбы.

Василе откинулся на подушку. При мысли, что сейчас стрелочник Сырбу, ещё и цыган, раскиснет крупному финансисту и профессору экономики Замфиру, что они вот-вот породнятся, на него накатила тоска. Вряд ли родители будут рады такому мезальянсу. Всю прошлую ночь ему снились кошмары, и в первый раз он проснулся, не помня ни одного из своих видений. Только держался на языке привкус чего-то страшного и необратимого, что изменит его жизнь навсегда. Виорика по-прежнему влекла его, но то, что в их чувства насильственно вторгся Маковой, всё портило.

Та странная мечта о заброшенном доме, в котором давно никто не живёт, как будто его родители умерли, пропала. Он не желал смерти отцу и матери, упаси Господь! Он любил их со всей теплотой и искренностью. Дом ведь мог опустеть, потому что родные уехали за границу и живут теперь в Лондоне или Провансе. Он думал об этом каждый раз, когда представлял себя и Виорику в пустом особняке на Хэрестрэу.

Теперь всё. Не будет их весёлой возни с тряпками и чехлами, не давиться им смехом, брызгая крошками, на пыльной кухне, не стоять, затаив дыхание, перед огромной родительской кроватью, с наслаждением и мукой оттягивая момент, о котором мечтали по ночам. Ничего этого не будет.

Будет пошлая и пьяная сельская свадьба, толстый поп среди дутого золота икон, первая брачная ночь с храпящим за стеной Маковеем, бесстыдно вывешенная простыня с кровью молодой жены. Так, кажется, принято у цыган? Да как вообще можно после этого испытывать любовь и нежность друг к другу? Всё, что суждено им дальше — унылая и обозлённая жизнь простолюдинов на заброшенной станции. Бухарест не примет примитивного убожества и никогда не примет заражённых им молодых. Всё кончено!

«Сбежать бы... Вместе...» — подумал Замфир и отбросил эту мысль.

Сейчас, когда в голове немного прояснилось, он понял, что петля всё ещё сжимает его шею, а конец — в руках у Маковой, и дело не только в дьявольском цыганском проклятье. В Чадыр-Лунге у Сырбу извлекут пулю — пулю из его револьвера, задокументируют покушение на убийство. Амалия подтвердит любые слова мужа, а продажный жандарм может продаться ещё раз. Ничего не кончено, и жизнь Замфира по-прежнему в руках цыганского шувано — не вывернуться.

Он повёл подбородком, и заскрипела кожа в глотке. Распухший язык лежал в высохшем рту, будто Замфир несколько дней скитался по пустыне. Открылась притворённая Маковеем дверь, и вошла Виорика с глиняной плошкой. Взялась было за ручку, но сразу раздался окрик отца:

— Дверь не закрывай!

Она радостно и виновато улыбнулась Замфиру и села перед ним на тот же стул, где недавно сидел Маковой.

— Покушай, любимый! — ласково сказала она.

— Спасибо, — просипел Замфир. — Можешь принести воды? В горле пересохло.

Когда Виорика вышла из комнаты, он облегчённо выдохнул.

Как только удалился жандарм, вернулась Амалия. Тихо и невесомо, как никогда раньше, она проскользнула в дом. На кухне привычно оттеснила дочь и отправила кормить кашкой любимого. Маковой сидел напротив двери и внимательно следил за тем, что происходит в комнате Замфира.

— Что ты высмотреть там пытаешься? Думаешь, прямо сейчас ребёночка делать будут? — едко спросила Амалия. Маковой скорчил недовольную рожу, но сдвинулся к столу.

— Ничего, пусть знают: я всё вижу. Завтрак скоро будет? — забежала улыбающаяся Виорика за водой. — Заявл нарцисс, поливать побежала, — ехидно бросил ей в спину Маковой и сразу получил полотенцем по темечку.

— Отстань от них, сатрап! — со смехом сказала Амалия и, понизив голос, спросила: — Теперь, может, объяснишь, зачем я за жандармом бегала?

— От многих знаний — многие печали, — ответ жене не удовлетворил. Она стояла, подбоченясь, и испытующе смотрела ему в глаза. — Пока не скажу, кормить не будешь? — усмехнулся Маковой. — И кто из нас сатрап? — Амалия медленно помотала головой. — А может ты — болгарская шпионка? У них это знак согласия.

— Говори давай, а то пытку голодом применю.

— Ладно, — с притворной покорностью вздохнул Маковой. — Нечего рассказывать. Сунул ему ракии, сала, на свадьбу пригласил.

— Уж прям на свадьбу!

— А чего ждать? Сама ж говорила: жить друг без друга не могут. Ну и пушай живут. Пока ты в Казаклию бегала, офицерик наш предложение Виорикуце сделал. Я, уж прости, без тебя благословил. Но мы вечером повторим, всё чин по чину, икону

целовать будут, как положено.

— А что это ты вдруг подобрел так? — подозрительно поинтересовалась Амалия.

— Да ничего. Не такая и плохая партия, если наследство посчитать. Будут внуки наши на золоте есть и в фарфоровые вазы плевать. Чем плохо? Зачем мне между ними вставать, если такая любовь?

— Ох, что-то тут нечисто, Макушор. Что-то ты не договариваешь.

— Не договариваю, — легко согласился Маковой. — Всего тебе знать не надо. Просто верь, что я всё делаю ради вашего блага. Я из многих передраг нас вытаскивал, вытасу и в этот раз, — Амалия хотела напомнить, что он сам в эти передраги семью и ввергал, но мудро промолчала. Несказанные слова лучше сказанных хранят покой в семье. — Я как бы невзначай обмолвился, что лошадь наша второго дня в предсмертной агонии билась, и господин сублейтенант из жалости её пристрелил. Жандарм смерть засвидетельствовал и рану от пули в голове тоже. Обещал прислать костяника за трупом Бьянки. Сейчас я к доктору в Чадыр-Лунгу поеду, Лазареску отвезти обещал. К вечеру вернусь. Заодно с отцом Софронием о венчании договорюсь. А ты вот что... О том, что с родителями жениха случилось — ни-ни. Поняла? И про то, что Бухарест пал — тоже. Ни к чему ему такие новости перед свадьбой.

— Не по-божески это, — укорила Маковой жена. — Мальчик сиротой стал.

— Ну, вот и ни к чему ему лишние волнения. Давай не будем омрачать счастливый день нашей дочери. После свадьбы всё скажем. А ну как глупостей наделает: в Бухарест сбежит. Для немцев он вражеский офицер, для румын — дезертир. Хоть так, хоть так зазря сгинет. Молодые сначала делают, потом думают, и останется Виорика без возлюбленного жениха. Нет уж, молчи, как немая. Клянись!

— Да ну тебя! Не скажу ничего. Делай, как знаешь.

— Ну и славно. Теперь покормишь?

Амалия всплеснула руками и закружилась по кухне. Запыхтели на сковороде кружки кровянки. Запах жареной колбасы, утренней яичницы со шкварками, свежесваренного цикория достиг ноздрей Замфира.

В его доме на Хэрестрэу никогда не пахло так восхитительно. Еду готовили в полуподвальной вентилируемой кухне, наверх доставляли лифтом, накрытой плотными крышками. На большом, богато сервированном столе, по хрустящей крахмальной скатерти горничная расставляла миниатюрные китайские вазочки с душистой фиалкой. Тонкий аромат осветлённого консоме с идеально румяными крутонами или телячьих медальонов под спаржевым пюре ни в коем случае не должен был впитаться в ткань антикварных гобеленов.

Стряпня Амалии, в сравнении с привычными Замфиру блюдами, была как румяная, полная жизни селянка перед чахоточной красавицей, чьей красотой можно восхититься, но не насытиться.

От голода тоненько взвыло в сублейтенантском животе. Виорика прыснула и отправила новую ложку в рот Василе. Он пытался вначале есть сам, но шуточно получил по рукам, и невеста попросила не портить ей удовольствие. Она кормила его с ложечки, пробуя губами, не горячо ли, потом он губами забирал кашу, и выходило, что они целовались даже под строгим взглядом Маковой. Замфир любовался ямочками на нежных щеках Виорики, и мысль о скорой свадьбе пугала уже не так сильно.

После завтрака он попытался подняться, но Маковой немедленно отправил его обратно в постель. Замфир снова остался наедине со своими думами. Больше всего его страшил разговор с отцом. Он ждал разочарование в его глазах, знал, что не сможет объяснить, зачем венчается с цыганской дочерью, ещё и по православному обычаю. Мама тоже рада не будет, но она настолько привыкла не выказывать своих чувств, что лицом к своим сорока двум годам напоминала фарфоровую куклу.

Ещё из головы не шёл Маковой. Василе понимал, что после свадьбы он вечно будет где-то рядом, и это понимание омрачало мечты о будущем счастье. Виорика... Надо ж было её встретить. И прошлого не вернуть, и будущего не переиграть. Замфир — как молодой доктор Ливингстон: высадился на берег неисследованного континента и пока только готовится войти в загадочные джунгли. И пусть ему страшно, но разве страх может остановить отважного исследователя?

Потом с грустью подумалось: «Ах, как много неисследованных континентов ещё вокруг, куда, фигурально выражаясь, не ступала его нога. А вдруг там хранятся несметные сокровища, а тут — только безводная пустыня?»

От вынужденного безделья дурные мысли вились, что осы над сиропной лужицей — то одна присядет, то другая. Лучше б он сейчас дрова колот или колоду тягал — голый по пояс, распаренный, под восхищённым взглядом невесты из-за занавески. Когда что-то делаешь руками, голова занята простыми движениями, ей не до страхов отчаянно не желающего взрослого Замфира.

К полудню в спальню с вежливым стуком заглянула Амалия напомнить об эшелоне

в Добруджу. С облегчением от того, что можно не голову, так хоть руки занять, Замфир оделся и выбежал на привычное место. С планшетом в руке и официальным бланком он ждал эшелона на пригорке. В последнее время на юг поезда шли редко, больше обратно — с разбитой техникой, санитарные или товарные, на скорую руку переделанные под перевозку раненых. Василе не получал сводок, газет никто из Сырбу не читал. Намерение сходить к Лазареску за свежими новостями подзабылось за последними событиями. То, что дела у румынской армии плохи, он видел и сам.

Стоял декабрь, обычный гагаузский декабрь — ни снега толком, ни холодов. Вместо здорового мороза — мороси с изморозями, плещи полей с редкими снежными зачёсами, вороньё голодное, оттого крикливое. Тоска. Липкий ветерок пронырливо влез за шиворот, и Василе пожалел, что не накинул Маковеев тулуп. Он — зять, теперь можно. Время тянулось, Замфир уткнул красный нос в поднятый ворот кителя, пытался дышать себе за пазуху, но это не помогало. Когда он почти решился сбежать в дом, из-за поворота вывернул паровоз.

Локомотив тянул куцый состав из семи вагонов. В окнах торчали угрюмые широкие лица, не похожие ни на сербов, ни на румын. Значит, русские — он помнил, как сильно отличались неулыбчивые северные воины от южан. Поезд сбавил ход. Солдаты из окон провожали взглядами замёрзшего офицера с планшетом, а Замфир смотрел мимо. В конце состава синел вагон первого класса. Он приближался, Василе гадал: а что если там Сабуров? Ему вдруг до смерти захотелось, чтобы из задней двери свесился его друг Костэл и протянул ему руку. Он был готов влезть в военный эшелон и отправиться на фронт с этим бесстрашным и везучим русским, лишь бы вырваться из медвежьих объятий Сырбу, но поезд проехал мимо, а он остался стоять на пригорке у крошечной железнодорожной платформы. Погружённый в свои мысли, Замфир разглядывал носки своих сапог на жухлой, припорошенной снежной пудрой траве. Не слыша, не ёжась больше от ветра, как мертвец, потерявший волю. Что-то тяжёлое, тёплое, медвежье навалилось ему на плечи, и сразу девичий голос сдул испуг:

— Василикэ, ты задрогнешь. Почему тулуп не надел? Не хватало мне больного жениха! — она вывернулась из-за его спины и обхватила руками за шею. Потянулась к губам, но замерла, внимательно глядя в глаза. — Что случилось, любимый?

Замфир отвёл взгляд.

— Всё хорошо, Виорица, просто задумался...

— Нет-нет-нет! Посмотри мне в глаза! — Виорика тёплыми ладошками обхватила его щёки и притянула к себе. — Скажи мне правду! Нам ещё рано врать друг другу. Враньё — для стариков вроде наших родителей, — Замфир молчал, он заглянул в глаза невесты и виновато перевёл взгляд на туманный лес за её макушкой. — Ты больше не хочешь быть со мной... Это из-за свадьбы? — он замотал головой. — Ты думаешь, что я тебе не ровня...

— Виорика, нет!

— Ты думаешь, что твои родители не примут нас?

— Виорика, боже, нет! — он сам схватил её лицо ладонями и торопливо зашептал:

— Виорица, больше всего на свете я хочу сейчас взять тебя за руку и запрыгнуть в любой поезд. Увезти куда угодно: в Россию, Германию, Америку... Хоть в Африку. Куда-нибудь подальше, где нас никогда не найдёт твой отец. Понимаешь? Я хочу быть с тобой так сильно, что это желание вот-вот меня разорвёт, как гранату! С тобой! Но не с ними...

— Мой отец — хороший человек, он желает нам счастья, — Виорика смотрела исподлобья.

— Ты не знаешь его!

— Замолчи!

На крыльцо их дома вышла Амалия. Она смотрела на обнявшихся молодых, вытирая полотенцем натруженные руки. Виорика заметила мать и раздражённо махнула ей рукой. Женским особым чувством Амалия поняла, что сейчас лучше не мешать. Дочь, несмотря на юный возраст, иногда казалась мудрее её самой.

— Василе! — Виорика долго смотрела в его глаза, пока он наконец не сдался и не ответил ей прямым и жалобным взглядом. — Не унижай меня сомнениями. Я не хочу, чтобы в церковь ты входил со скорбным видом жертвенного агнца. Я хочу, чтобы мой жених улыбался и чтобы его «да!» было громким и счастливым. Сделай мне такой подарок в самый лучший день моей жизни. Мы не знаем, что будет дальше. Может, тебя призовут на фронт и ты погибнешь от пули. Или вернёшься в орденах... или без ног. Может, болгарский снаряд разнесёт наш домик со всеми нами. А может, ничего не случится, и мы будем жить долго и счастливо, или ты разлюбишь и заведёшь любовницу... Я не хочу знать, что будет потом. Может, никакого потом не будет, и всё, что у нас есть — сейчас. Я хочу быть счастливой сейчас.

Она потянулась к нему — тёплая, близкая, пахнущая молоком и вездесущей

лавандой, которой переложены все вещи в доме Сырбу. Он коснулся её губ и подумал, что другие континенты пусть живут спокойно, у него уже есть свой, покорный и готовый выложить перед ним все свои сокровища. Может быть, и всей жизни не хватит, чтобы исследовать его полностью: от недр до вершин. Зачем думать о прочих, пускай ждут своих открывателей.

Дружба Замфира

Замфир угадал: Сабуров был в этом поезде. Маршрут штабс-капитану был хорошо знаком. Перед поворотом на Тараклию поезд взбирался на взгорок и сильно сбавлял ход. Была у Сабурова мысль спрыгнуть и в расположение доехать следующим, но он её отбросил, буркнул под нос: «Да что я ему — нянька, что ли?!» Константин накинуд куртку и вышел покурить в тёмный тамбур. За стеклом прополз домик Сырбу, сарай из выцветших досок, блеснула речка Лунгуца — из-за кустов на берегу и не видно её. Имя — как у смуглой молдавской красотки, а на вид — мутная, желтушная, стоялая. До неё земля, что ржаная корка, битая плесенью. Скачет по ней вороньё, горбушку ковыряет. За рекой — та же безрадостная картина.

На привычном месте стоял Замфир и напряжённо вглядывался в окна проплывающих купе. Смотрел с тоской и надеждой, с разомкнутыми губами, умоляюще сморщенным лбом под форменным кеши, ни дать ни взять — потерянный ребёнок. Сабуров потянулся к ручке двери, но не тронул, вместо этого шагнул назад, в тень. Появилась голова его румынского друга, он всмотрелся в темноту, но взгляды их так и не встретились, уплыл за край — остался в Казаклии, а поезд ушёл на фронт. Путь был всё короче: Румыния сжималась, как тлеющая бумажка. Как скоро обуглится и этот край?

Сабуров не вышел, потому что стыдился. В первую их встречу, в разговоре под Шустов, Василе открыл своему случайному знакомому тайну. Поверил то, что не каждый мужчина решится сказать своему самому близкому confidentу. Молодой человек, по виду совсем юноша, был оплетён страхами, как египетская мумия — бинтами. Константин попытался помочь и невольно стал его наставником, хоть никогда не стремился примерить эту роль.

Во второй раз он надеялся проехать через Казаклию незаметно, но настырный румынский офицер его нашёл, спасибо сербскому художнику Любе за медвежью услугу. Замфир застал Сабурова в минуту слабости, когда тот, беспомощный, распятый на своей койке, простился со всем, что было ему дорого. Цветущий вид и лёгкая брезгливость сублейтенанта разозлили штабс-капитана. Желаете подробности, друг Вася? Получи полной мерой! Константин так увлёкся, живописуя ужасы своего падения, что вновь оказался в кабине подбитого аэроплана. В минуту слабости он раскрыл Замфиру свой страх, страшнее всех страхов, испытанных им ранее — теперь он боится летать.

Во внимательных глазах сублейтенанта в тот миг промелькнуло торжество, Сабуров успел его поймать, и ему стало больно и обидно за эту скрытую радость. Пусть Замфир — не прелестная барышня, готовая вот-вот одарить своей благосклонностью, он малознакомый, в сущности, офицер, случайный встречный большой войны, неважно. Падать с пьедестала всегда больно. Даже не падать — сползать неуклюже, пузом на землю, придерживая сломанную ногу. Сабуров больше не хотел встречаться с сублейтенантом — и от стыда, и со злости.

В одесском военном госпитале хирурги собрали его ногу. Когда выпустили, Константин купил щегольскую тросточку и ударился в недельный загул. Он был рассеян и щедр. Страстные девицы наливали ему холодное шампанское, но вкуса и в нём, и в них было не больше, чем в церковной просвирке.

Сабуров ходил в рестораны и пятнал пеплом крахмальные скатерти. Холёные шпаки вокруг дымили толстыми сигарами. Подпив, по-барски шурились ассигнациями и выкидывали коленца под истеричный визг джаз-банд. Лаковые оксфорды на их дрыгающихся ногах сияли ярче эполет штабных. Те, франтоватые, в белых перчатках, с новенькими скрипящими португезями, уверенно рассуждали о положении на фронте, который только на карте и видели. Сабуров презирал и тех, и других.

Но гаже всего были громогласные пьяные тосты за победу русского оружия. Сабурова подмывало крикнуть: «Господа! Я в каждого из вас по бочке водки волью, если от этого победа станет ближе!» — но он молча подзывал официанта и заказывал ещё казённой. Лишь однажды Сабуров дал себе сабину и нарочно оттоптал ногу завитому мелким куделем поручику. Глянул в бегающие глазки и молча ушёл, не извинившись. Его визави такой поворот событий вполне удовлетворил. Из вольного города штабс-капитан уезжал с пустыми карманами и чувством, что его обманули.

В штабе флота в Севастополе было деловито и тихо. Сновали по ковровым дорожкам адъютанты, двери бесшумно открывались и закрывались без стука. За стенкой приглушённо клацал телеграф. Из кабинета справа, с папкой в руке, вышел капитан второго ранга Шевцов — давний знакомец и бывший начальник Сабурова. Запнулся, поднял глаза и с искренней радостью раскинул руки.

— Какие люди! Константин Георгиевич! — воскликнул он и радостно хлопнул его по плечам. — Глядите орлом, хороши! Как нога? Что говорят эскулапы, скоро в небо?

— Здравствуйте, Сергей Афанасьевич! Нога в порядке. А вот небо... — Сабуров помрачнел: — Хочу подать прошение о переводе меня в кавалерию.

— Крепко зацепило... — понимающе покачал головой Шевцов. — Пойдёмте, штабс-капитан, ко мне почаёвничаем.

— А это? — Сабуров показал глазами на папку.

— А это подождёт, ничего срочного.

В кабинете Шевцов с Сабуровым уселись с внешней стороны стола, как два посетителя высокого начальства в его отсутствие. Денщик расстелил салфетку на обитом кожей столе, принёс чай в подстаканниках, лимон и несколько кубиков рафинада. Коротко кивнув, удалился.

Чай остыл, так и не тронутый. В севастопольском вокзальном буфете Константин наполнил флягу шустовским. Они пили коньяк из крошечных посеребрённых наперстков, одним глотком, как водку. Сабуров рассказывал, Шевцов задавал уточняющие вопросы, оттого катастрофа, сломавшая бесстрашного авиатора, казалась обыденным разбором полёта. В конце кавторанг шевельнул бровью, взглядом указывая на фляжку штабс-капитана:

— Есть там ещё пара капель эликсира?

Сабуров поболтал ей в воздухе:

— На один раз хватит.

— Наливайте. Вы как сейчас, не сильно заняты? Могу ангажировать на денёк?

— На что угодно согласен, лишь бы без дела не сидеть.

— Славно. Мне груз надо в Качу отправить. В авто уже погрузили, а сопровождающего нет — все при деле. Съездите в свою альма-матер, передайте по описи. Вечером вернётесь — приглашаю отужинать в «Поплавке». Брют, свежие устрицы...

— Что-то у меня после Одессы изжога от ресторанов. А что за груз? Секретный?

— Грифа нет, но груз крайне любопытный. Слышали про ранцевые парашюты Котельникова? Две дюжины отправили на испытание в Качу. Превентивно. Ждём, пока министерство примет их на вооружение. Пойдёмте, покажу.

Они вышли из здания в холодную севастопольскую промозглость, которая петроградской форудаст. В углу двора, чуть припорошенный снежком, стоял грузовик. Шевцов откинул брезентовый полог, и Сабуров заглянул в кузов. В полумраке рядами стояли объёмные алюминиевые баки с фанерными крышками.

— Видали такое, Константин Георгиевич?

— Слышал, но живьём не пришлось.

— В прошлом году я был в Гатчине, когда Его Императорское Высочество сменил гнев на милость и дал высочайшее добро, да вот только с тех пор мало что изменилось. Для чиновников военного министерства у аэроплана есть цена в золотых рублях, а жизнь авиатора — копейка. Бабы нарожают, Кача выучит. Проволочки, согласования, пересогласования — тянут время, как могут, а воз и ныне там. Пока идёт вся эта бумажная канитель, с каждым сбитым аэропланом мы теряем обученного лётчика. Вы, Константин Георгиевич, — чудеснейшее счастливое исключение из этого поминального списка. Кто знает, будь у вас такая банка за спиной, может, не просились бы вы в кавалерию саблей махать?

Сабуров упрямо покачал головой:

— Отлетал я своё, Сергей Афанасьевич. Господь нам две ноги дал, чтоб по земле ходить, а крылья в штатную оснастку не входят.

— Как знаете, как знаете. Очень жаль, скажу откровенно: замечательного лётчика авиация в вашем лице потеряла. Ну, добро. Пришлю шофёра. Опись у него будет.

Через пару минут прибежал запыхавшийся денщик, приволок два овечьих тулуша. Потом появился шофёр из вольноопределяющихся, по виду студент, худой и нескладный. Неуклюже приложил руку к непокрытой голове, сразу занырнул в кабину и вытащил кривую ручку.

— Вы одевайтесь, господин штабс-капитан, — сказал он, крутя стартер. — Ехать далеко.

Сабуров залез в машину, обнаружил под ногами пару валенок, накрытых тряпицей, чтоб снег не заметало. Сорговым венчиком вымел с пола снег и сунул ноги в голенища.

С Инкерманских высот зло дул плотный ветер с востока. Он пах выстуженной

степью, лез под овчину сырым кладбищенским снегом. Сабуров поднял высокий воротник. Шофёр крутил лакированную баранку, из меха, стянутого шерстяным шарфом, торчал только хрящеватый красный нос. К въезду в авиашколу Константин порядком задрог, несмотря на тулуп, будто не по южному Крыму они ехали. Отвечая на его мысли, шофёр сказал с усмешкой:

– В Иркутске так не мёрз зимой, как здесь, а всё сырость. Никакая шуба не спасает.

Сабуров согласно кивнул. Говорить ничего не стал, побоялся – стоит разжать сведённые зубы, как выдадут они барабанную дробь. Незнакомый поручик принял по описи парашюты, оба поставили подтверждающие подписи. Второй листок Сабуров отдал шофёру. Того увели на кухню отпаивать горячим чаем, а поручик всё стоял, разглядывая факсимиле, потом вскинул на штабс-капитана испытующий взгляд.

– Сабуров... Господин штабс-капитан, а не тот ли вы Сабуров, которого частенько поминал зауряд-прапорщик Вахламич? Константин Григорьевич вас зовут?

– Георгиевич, – поправил он. – Возможно... А что, Вахламич тут?

– Нет, после Покрова со своими выпускниками на Северо-Западный отбыл. Начальник долго его увещевал, карами грозил, а тот ни в какую. Смену, мол, себе подготовил, отпустите, и всё. Не отпустите – до великого князя дойду. А что? Надеяться на встречу?

– Да, было дело. Думал задержаться, распить бутылочку по старой памяти.

– Ну что ж, Константин Георгиевич, постараюсь вам его заменить. Позвольте представиться: поручик Акулов, Пётр Никитич. В отсутствие Арсения Тихоновича готовлю новый выпуск военлётов. Пойдёмте в офицерскую столовую, напою вас чаем и похлопочу насчёт комнаты для ночлега, а вы через час подходите на лётное поле, если любопытно. Буду моим кадетам объяснять устройство ранцевого парашюта. Как отсюда выйдете – и направо, на самый край, до привязного аэростата.

В указанное время Сабуров, влекомый любопытством, вышел на лётное поле. В дальнем конце стояла большая армейская палатка, над её куполом дугой выгнулась серая вершина притянутого к земле аэростата. Из казармы в ту сторону тянулась жидкая цепочка кадетов. Сабуров шагал поодаль, ветер доносил обрывки разговоров.

– Я, господа, не вижу никакого практического смысла в сегодняшнем занятии, – с юношеской надменностью сказал один из учеников.

– Отчего же? – удивился другой.

– Покидать кабину падающего аэроплана считаю трусостью. Прав был Его Императорское Высочество: изобретение господина Котельникова разжижает нравы военлётов.

– Вы так судите, потому что сами в такую переделку не попадали.

– Никогда труса не праздновал, и тут бы слабина не дал. Сомневаетесь в моей смелости?

– Упаси Бог!

Храбрец свысока взглянул на своего товарища, на верхней губе топорщились ещё жидковатые печоринские усики. Сабуров подотстал, чтоб не быть уличённым в недостойном подслушивании.

Под брезентовый полог учебной палатки он вошёл последним. Внутри горела чугунная жаровня, но снежная стылость гасила угольный жар в сажени от огня. Пахло мокрым брезентом. По центру лежала открытая алюминиевая фляга, стропы из неё, аккуратно выложенные зигзагом, кончались сложным куполом. Кадеты с любопытством взглянули на незнакомого штабс-капитана. Заметив Сабурова, поручик кивнул ему и объявил:

– Господа кадеты, имею честь представить: выпускник нашей авиашколы, штабс-капитан Сабуров. Военлёт, герой войны и георгиевский кавалер.

Кадеты, молодые и не очень, зашептались. Уже знакомый, с редкими печоринскими усиками, развязно сказал:

– А я читал про вас, господин штабс-капитан, в «Инвалиде». Расскажите о своём приключении?

– Кадет Тышкевич! – одёрнул его Акулов. – За «приключение» «География» не дают!

– Ничего, Пётр Никитич, – сказал Сабуров, пристально глядя в глаза не по чину дерзкому юноше. – Про «приключение», как выразился господин Тышкевич, извольте, почему бы и не рассказать: презабавный анекдот вышел. Но не здесь и не сейчас. Вы тут, господа, кажется, не фронтовые байки собрались слушать?

– Великий князь Александр Михайлович не одобряет... – начал Тышкевич.

– Его Императорское Высочество изменил своё мнение о парашютах в авиации, иначе мы бы тут с вами не стояли, – перебил его Акулов. – Кадеты! – повысил он голос. – Вы все мечтаете стать военлётами, но большинство из вас выйдет из школы со снисходительной пометкой «учился летать». Диплома военного лётчика окажутся до-

стойны единицы. Вот вас, кадет Тышкевич, может и миновать чаша сия. Единственная дисциплина, к которой я вижу у вас несомненные способности — словесная дерзость, но на выпускном экзамене её не будет, — по шеренге прокатились приглушённый смехи. Акулов выждал немного и сказал: — Отставить смех! — Тышкевич стоял, выпятив кадык, и рассматривал потолок над головой преподавателя. На бледных скулах его разгорелись пунцовые кляксы. Акулов невозмутимо продолжил: — Подготовка военлёта обходится казне очень дорого. Если спасти аэроплан невозможно, нет доблести в том, чтобы погибнуть вместе с ним. Учебные прыжки с парашютом не входят в обязательную программу вашей подготовки. Однако я настоятельно рекомендую каждому из вас освоить эту науку. Возможно, когда-нибудь это умение спасёт вам жизнь и сохранит отчизне опытного лётчика. Добровольцы есть? — Акулов обвёл взглядом строй кадетов. Они стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. — Ну что, покорители неба, неужели никто из вас не готов испытать себя?

— Может быть, господин штабс-капитан покажет нам пример? Для героя войны прыгнуть с парашютом — сущий пустяк, — подал голос Тышкевич. — После такой демонстрации и добровольцы сыщутся.

После этих слов наступила тишина, и Сабуров почувствовал слабость в коленях. Он поймал торжествующий взгляд Тышкевича и услышал, как заговорил Акулов — тихо и плоско, едва слышно за испуганным биением сердца.

— Господин штабс-капитан находится в отпуске по ранению после аэрокрушения. Состояние его здоровья не позволяет участвовать в таких испытаниях.

— Понимаю, — с плохо скрываемым ехидством протянул Тышкевич, — такое нервическое происшествие.

— Кадет Тышкевич! — вскричал Акулов. — Вы, кажется, забыли, где находитесь?!

— Пётр Никитич, оставьте! — Сабуров погасил первый приступ паники. — Моё здоровье, спасибо докторам, полностью восстановлено, — он подошёл к дерзкому кадету. — Я смотрю, вы пользуетесь авторитетом у товарищей. Давайте поможем господину поручику успешно закончить это занятие. Я готов прыгнуть первым, а вас приглашаю за мной. Судя по речам, человек вы отважный и не откажете мне в этой чести. После вас, уверен, захотят попробовать и остальные.

Деревянной походкой Сабуров прошёл в угол палатки и поднял один из заготовленных парашютов. Всё ещё не веря, что поддался на провокацию, он натянул алюминиевый ранец на плечи и застегнул ремни.

— Ну что же вы, господин кадет?

Тышкевич облизнул пересохшие губы. Однокашники выжидающе глядели на него. Акулов стоял молча, заложив руки за спину. Немая сцена затянулась. Тогда Сабуров взял второй парашют и сам сунул его в руки Тышкевичу.

— За мной, господин кадет! Пётр Никитич, проведёте мне краткий инструктаж?

Они вышли из палатки, и Акулов оттащил Сабурова в сторону.

— Вы с ума сошли, Константин Георгиевич? Без подготовки, после госпиталя! — зло зашептал он в лицо. — Ну зачем я позвал вас на это занятие?! А вы? Тоже хороши! Поддались на провокацию этого молокососа! — Акулов бросил взгляд через плечо. Виновник его тревожений с парашютом за спиной угрюмо сбивал снег с пожухлой травы. Его товарищи толпились возле входа в палатку. — У меня этот Тышкевич вот где! — Акулов рубанул ребром ладони по горлу. — Его отец — большая шишка в генштабе, вхож в императорскую семью, с самим Александром Михайловичем запанибрата. Мог бы пристроить сыночка к себе, а не вешать на мою шею. И вы ещё... Эх! — он с досадой махнул рукой.

— Ну, будет вам! Ваши кадеты ждали: решусь я или нет — они по мне свой страх меряли, не мог я дать слабину. Откажусь — и ваше занятие пропадёт втуне.

— Это я бы как-нибудь пережил.

— Да не было у меня выхода, сами понимаете. Расскажите лучше, что делать надо.

Акулов покачал головой и сменил тон на деловой:

— Мы поднимемся на аэростате на восемьсот метров. По команде прыгнете из кабины, падать надо лицом вниз. Как прыгнули, отсчитывайте: «тысяча один, тысяча два, тысяча три» и дёргайте вот за эту петлю. Пружины высвободятся и выбросят парашют. Когда он расправится, вы услышите громкий хлопок, это ещё две секунды. Хлопок — это хорошо, значит, всё в порядке и никакого риска нет. У земли ноги держите вместе и полусогнутыми, это погасит удар. Сразу валитесь на траву и стягивайте под себя стропы, чтобы погасить купол, а то понесёт вас по полю. Ещё раз: вы хорошо подумали? Я властью преподавателя могу запретить вам прыгать, урона чести не будет.

— Нет, Пётр Никитич, ни в коем случае. Теперь это решительно невозможно. Ну что, посмотрим, так ли крепок духом наш разговорчивый юнец?

Втроём — Акулов, Сабуров и бледный, бодрящийся Тышкевич — они вошли в

корзину аэростата. Акулов махнул рукой, и двое кадетов завертели ручку лебёдки. Под лязг барабана, травящего стальной трос, кадеты отвязали причальные концы. Корзина накренилась, и Сабуров стиснул руками плетёный край. Поле медленно поползло вниз. Школьные строения превратились в белые костяшки, расставленные по шинельному сукну. Лысоватые взгорки с редкими клочками кустарника за ними потеряли объём. Земля стала плоской и точной, как топографическая карта, она удалялась и разворачивалась вширь, до горизонта, всё более далёкого. Взгляд Константина хватался за мелкие детали под ногами, будто только это удерживало его от головокружительного падения. Он обернулся. Сзади, за напряжённой спиной Тышкевича, на сколько глаз хватало, лежало море — серое, холодное, с густым кисельным блеском стылых волн.

— Ветер удачный, слабый норд-норд-вест, — Акулов указал на белую ленточку, привязанную к одной из строп. — Сядете близко к центру лётного поля. Господа! — он повысил голос. — Пока мы поднимались, опустилась облачность. Ничего страшного в этом нет.

Тышкевич обернулся к поручику. Его тонкое лицо было бледным до голубизны, а губы приобрели синюшность гнилой черешни. На Сабурова он старался не смотреть. «Хоть бы сердце в прыжке не разорвалось! — подумал с досадой Константин. — Его гибель будет на моей совести».

Беспокойство за дерзкого кадета убавило собственный страх. Сабуров расслабил напряжённые до судорог мышцы ног и повторил про себя: «Шагнуть, выждать три секунды, дёрнуть петлю, выждать две секунды, хлопок, свести вместе ноги и немного согнуть в коленях, стянуть стропы и погасить купол — простые движения, ничего сложного. Шагнуть... Просто шагнуть. Один шаг. Одно движение. Одно мгновение. Даже не секунда...»

Воздух сгустился, фигуры спутников стали нечёткими и белесыми. Сабуров протёр стёкла очков, но тщетно — аэростат вошёл в облако. Их окружил плотный туман, запахло снегом. Лицо Константина покрылось мелкими капельками воды. Корзина ползла вверх в тишине, ставшей почти совершенной, только поскрипывал стальной трос, выбирая длину. Пол дрогнул.

— Приехали, господа, — объявил Акулов. Его голос звучал глухо и отдалённо. — Мы находимся на высоте восьмисот метров. Сейчас вы по очереди покинете кабину. Первым — штабс-капитан Сабуров, вторым — кадет Тышкевич. Прошу подумать ещё раз. Прыжок с парашютом — дело добровольное, любой из вас может от него отказаться прямо сейчас. В этом нет ничего постыдного. Константин Георгиевич?

Сцена удивительно напоминала дуэль — тот момент, когда секундант в последний раз призывает к примирению. Сабуров посмотрел на до смерти перепуганного Тышкевича и ответил:

— Нет, я прыгаю.

Стреляться с юнцом Константин не стал бы, а прыжок — личное дело. После него пусть кадет сам решает — прыгать или нет. Прыгнет — молодец, значит, может преодолеть страх. Не прыгнет — растеряет спесь и авторитет у товарищей. Петру Никитичу легче станет.

Акулов открыл дверку — за ней клубился туман. Легко было представить себе, что корзина стоит на поле, и сейчас в этом молоке появится любопытная физиономия какого-нибудь ученика. Сабуров подошёл к краю, и иллюзия исчезла. Облако под ногами никак не напоминало пуховую перину.

«Восемьсот метров. Чуть больше двенадцати секунд, если парашют не раскроется. Терпеть недолго... — подумал Сабуров, и следом в голову пришло: — Хорошо, турок внизу нет, как в последнем полёте...»

Он взялся за края корзины и замер. Ноги будто вросли в пол корзины и не желали двигаться. Секунды шли, Константин загривком чуял напряжённый взгляд Тышкевича, его страх, торжество и надежду, что штабс-капитан струсит, а значит, и ему не придётся шагать в бездну.

Акулов не выдержал:

— Штабс-капитан Сабуров! Властью преподавателя авиашколы я запрещаю вам прыгать! Отойдите от края!

Издевательский смех Тышкевича зазвенел в голове штабс-капитана — залихватский, всхрюкивающий. Ему робко вторили смешки других кадетов, сначала несмело, потом так же громко, перекрикивая друг друга, соревнуясь, кому смешнее. Будущие лётчики, хлопая по коленям, хохотали, а униженный Сабуров быстрым шагом уходил с лётного поля, прикрывая рукой «Георгия».

— Ну нет! — сказал он, перекрестившись, и шагнул. Выпал в холодный, почти непроницаемый туман, один, без аэроплана, с громоздким алюминиевым бидоном за плечами.

— Готовьтесь, господин Тышкевич, — сухо сказал Акулов. — Прыгайте по моей команде.

Собравшись с силами, кадет шагнул вперёд и впился пальцами в края корзины. Под ногами, почти незаметно, мешался туман, иногда он истончался, и Тышкевичу казалось, что он видит бесконечно далёкую землю. Сабурова внизу не было.

Константин летел вниз. Ужас, охвативший его перед прыжком, исчез бесследно вместе с мыслями. Сознание не потерялось, оно отошло в сторонку, оставив безумного бескрылого летуна наедине с коротким счётом: «Тысяча один...» В лицо ему бил студёный ветер, он был быстрее и злее, чем в кабине аэроплана на самой высокой скорости. Здесь не было защитного стекла, только очки-консервы. Встречный поток трепал галифе, как полковое знамя, он был резким, стылым, со злой иголочной моросью, но холодно Константину не было. Перед прыжком его бросило в жар, и лихорадка ещё до конца не утасла.

«Тысяча два...» Облако кончилось. Поле, исчерченное дорожками, проявилось из белизны, постепенно темнея и обретая геометрическую правильность. Он выпал из небесного пара в настоящий мир на головокругительной высоте. Ему много раз такое снилось, он просыпался в холодном поту, вцепившись сведёнными пальцами в край кровати. Сейчас он не спал, он висел высоко в небе над лётным полем, морем, Крымом, всем миром и, казалось, не двигался. Маленький муравьишка, который так мелок и незначителен, что, сброшенный с высоты, как ни в чем не бывало встанет на ножки и побегит по своим делам.

«Тысяча три... Петля!» Он дёрнул за плетёный конец, освобождающий пружины, и они распрямились с лязгом, почти не слышимым за шумом ветра.

«Тысяча четыре...» Машинально Сабуров продолжал считать. Ничего не происходило, кроме того, что домики лётной школы, кажется, стали больше.

«Тысяча пять...» Ожидаемо и внезапно раздался хлопок, ремни врезались в тело. Константин задрал голову — огромный белый купол развернулся над ним, и сразу наступила тишина. Он ухватился за стропы, не вполне доверяя кожаным ремням. Сабуров снова летел, это был совсем другой полёт — без рёва мотора и скрипа расчалок, в совершенном спокойствии. Воздух, прозрачный и невесомый, держал его и опускал на землю. Она приближалась, всё быстрее, но совсем не так она неслась навстречу, когда турецкий пулемёт сбил его аэроплан. Сабуров убеждал себя: это иллюзия, скорость падения не изменилась, и всё же подтачивало опасение, что удар будет слишком сильным.

Как и сказал Акулов, Константин опускался в самом центре пустого поля. Все полёты в этот день отменили, и самолёты стояли в сборных бессоновских ангарах на другом краю. Сабуров оглянулся. От палатки, где проходили занятия, к нему, подпрыгивая и весело что-то крича, бежали кадеты. Он свёл вместе ноги и согнул их в коленях. Земля бросилась ему навстречу, и он ткнулся в неё ботинками. Резкой болью отозвалась нога, повреждённая в катастрофе. Константин упал на бок и потянул под себя стропы, гася раздувшийся купол.

Подбежавшие кадеты помогли ему освободиться от упряжи. Галдящей стаей окружили они Сабурова, наперебой выпрашивая подробности, а тот с трудом удерживал рвущийся наружу счастливый смех.

— Господа, право, вам лучше попробовать самим, — уверял он кадетов, улыбаясь.

И тут сверху раздался торжествующий вопль:

— Эгегей! Ура-а-а!

Все задрали головы: на поле, махая руками и крича, опускался Тышкевич. Кадеты с гиканьем бросились за ним. Сабуров поймал одного за руку:

— Про Акулова не забыли?

— Двое на лебёдке, у нас всё чин по чину, господин штабс-капитан! — весело ответил тот и убежал вслед за остальными.

Весь остаток дня лебёдка скрипела без роздыха. К сумеркам отпрыгались все, некоторые по два раза, и Сабуров в их числе. В свете керосиновых фонарей в палатке до поздней ночи Акулов показывал, как укладывать парашют, и на этот раз не было ни одного скучающего лица. Оживлённые, возбуждённые, но уже придавленные счастливой усталостью, кадеты ушли в казарму. Акулов тревожно посмотрел на Сабурова:

— Простить себе не могу, что пригласил вас на это треклятое занятие!

— Напротив, друг мой... Я ведь могу вас так называть?

— Без малейших сомнений.

Сабуров порывисто обнял Акулова.

— Пётр Никитич, я совершенно счастлив.

Утром следующего дня с попутным грузовиком Сабуров покинул качинскую авиашколу. Под его ногами стоял объёмистый холщовый мешок с парашютом — чтобы

не вызывать любопытства у случайных встречных. Почти всю дорогу до штаба флота он провёл с закрытыми глазами. Шофёр решил, что штабс-капитан с лёгким водочным амбре решил вздремнуть, и не доставал разговорами. На самом деле, под смежёнными веками Константин пересматривал в памяти картины своего вчерашнего полёта, снова и снова. Ему не терпелось вернуться в небо, которое покорилося ему уже дважды: с мотором и без, и этот, второй раз, был страстнее и интимнее первого.

В штабе флота кавторанг Шевцов удивился, конечно, но не слишком естественно — слишком хорошо он знал беспокойную, но цельную натуру своего бывшего подчинённого. Командование направило штабс-капитана во вспомогательный авиаотряд, приданный Шестой отдельной армии. Оставалась ещё пара дней отпуска.

Севастопольская атмосфера от одесской отличалась разительно. Этот насквозь военный город работал на фронт. По улицам и бульварам ходили комендантские патрули. В доках Адмиралтейства латали пробоины пароходы Черноморского флота, а их моряки залечивали раны в госпитале неподалёку.

Здесь же базировался отряд гидропланов, разбомбивший турецкий Зонгулдак с авианесущих кораблей. Это была сложнейшая операция невиданной и невысказанной дерзости. Сабуров имел шапочное знакомство с офицерами прославленного авиаотряда и безумно жалел, что ему лично не довелось поучаствовать в том славном налёте.

Константин принял приглашение Шевцова. Они поели свежих устриц. Столик, который выбрал Сергей Афанасьевич, стоял прямо у бассейна, из которого официант вылавливал прославленный севастопольский деликатес. От коньяка и шампанского Сабуров наотрез отказался, и офицеры пили водку.

Здесь всё было иначе, и после одесских кабаков, пропахших табачным дымом, припавших пылью, притрушенных пудрой, неожиданно разящих острым селёдочным духом, он словно дышал свежим морским бризом. Играла тихая музыка. Далеко за волнорезами, где-то у берегов пылающей Румынии, опускалось в море слоистое зимнее солнце. Ревность кольнула сердце Константина.

«Ничего, скоро я тоже буду там!» — подумал он. Место в мирной жизни он так и не нашёл.

Через день непривычно короткий воинский эшелон увозил его в сторону румынского фронта к новенькому «Ньюпору», без остановки в Казаклии. Рассказывать о прыжке Замфиру он не хотел: этот полёт был их личным делом — Сабурова и неба. Живописать, как он снова преодолел свой страх было, так же непристойно, как расписывать подробности страстной ночи с любимой женщиной.

В глазах сублейтенанта, алчных к чужим страхам, Константин видел застарелую тоску от неспособности справиться со страхами собственными. А никакого секрета ведь нет, и Сабуров не раз пытался донести до Замфира простую, как жизнь, мысль: бойсья — действуй. Поезд прошёл мимо. Сабуров уехал на войну, а растерянный Замфир остался в мирном домике Сырбу.

Окончание следует